

к **ПОД СОЗВЕЗДИЕМ**

1944

84 (2 час РЧС) 6
1744

«КЕДРА»



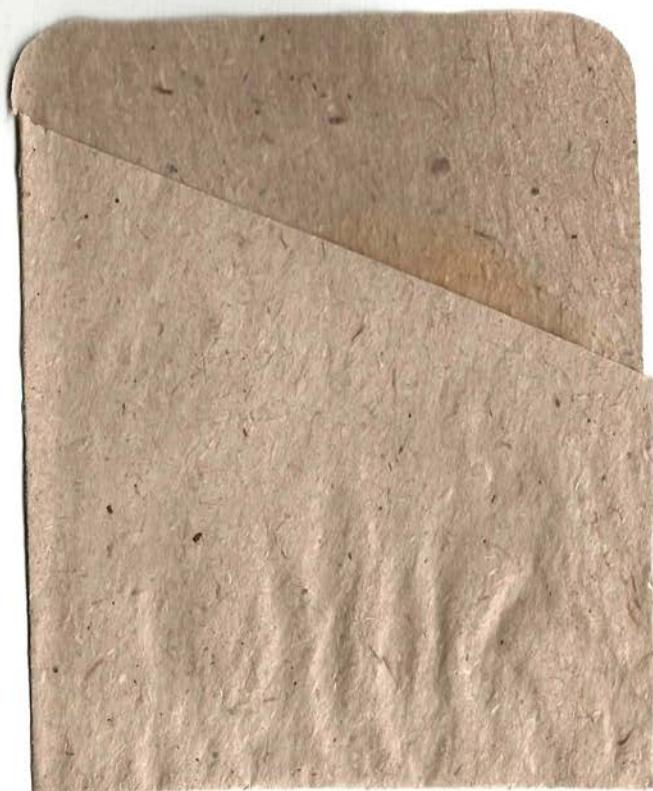
К 30-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО РАЙОНА.

АЛЬМАНАХ

1968—1998

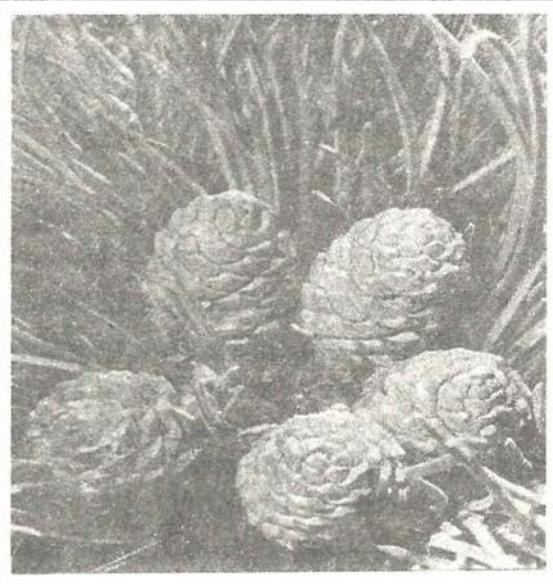
г. Советский
Издательство «РИО»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР



84(2) 6
п 44

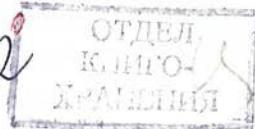
ПОД СОЗВЕЗДИЕМ «КЕДРА»



К 30-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
АЛЬМАНАХ

1968-1998 гг.

61714-2



г. Советский
Издательство «РИО»
1998

бкн. 1

ББК84(2Рос=253.3)6

П-44

Альманах
ПОД СОЗВЕЗДИЕМ «КЕДРА»
1968 - 1998 гг.

Выражаем глубокую признательность администрации Советского района и прежде всего Павлу Митрофанову и Андрею Расковалову, без поддержки и содействия которых этот сборник не появился бы на свет.

Централизованная
библиотечная система
Советского района

ISBN 5-900754-12-X

© Издательство «РИО», 1998 г.

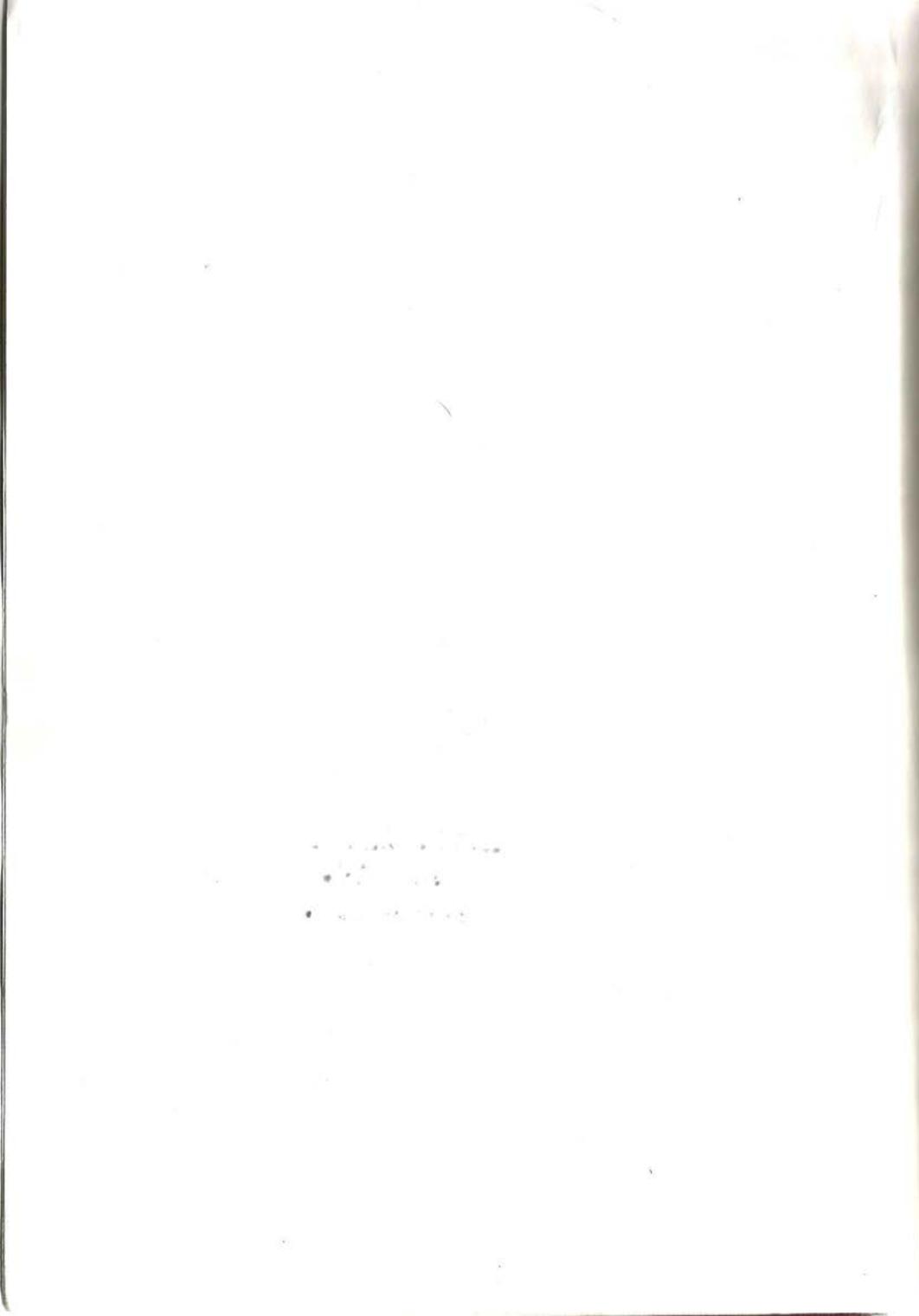
Уважаемый читатель!

Ты держиши в руках книгу, составленную из произведений людей, живших и живущих в нашем районе, которому в этом году исполнилось тридцать лет. Возраст для района небольшой, но для тех, кто связан с ним своим трудом, сердцем и биографией – велик. Приятно, что не хлебом единым жили, живут и, надеюсь, будут жить советчане. Залогом тому – альманах, собравший под единой обложкой тех, для кого писательство является потребностью духовного самовыражения. Советский район всегда отличался активной творческой жизнью. В районной газете постоянно выходили «Литературные страницы», они-то и стали основой альманаха.

Надеюсь, всем будет интересно познакомиться с поэтическими и прозаическими произведениями как старых знакомых, ставших уже известными далеко за пределами района, литераторов, так и с молодыми, только-только делающими первые робкие шаги в литературе.

Убежден, встреча с альманахом никогда не разочарует.

Павел Митрофанов,
глава администрации муниципального
образования «Советский район».



ПОШЛИ МНЕ СИГНАЛ
НА
СЕРДЕЧНОЙ ВОЛНЕ...



Кочкаренко Владимиру Борисовичу в этом году исполнилось бы пятьдесят восемь. Представить его в пенсионном возрасте невозможно, особенно тем, кто его знал, с кем он долгое время работал, дружил. Он умер молодым, на взлете творческих сил.

За пять лет до смерти он пророчески написал:

Это молодость –
ночь забав,
соловьиное это скерцо.
Так и будет идти судьба,
изумляясь,
к разрыву сердца.

Судьба его оборвалась в 1976 году в ясный апрельский день по дороге из Советского в Комсомольский. Только-только у него вышла первая тоненькая поэтическая книжка «Леса поют» в Свердловске.

Уже в ней он зрело, заостренно-полемически говорит в поэме «Разговор с вальщиком леса» о бережном отношении к природным богатствам, предупреждая, что, уничтожая тайгу, мы рубим сук, на котором сидим. А сейчас мы это называем экологической проблемой, о чем говорят и пишут все, не боясь последствий. Поэма была напечатана в районке и помнится, не всем руководителям она пришлась по нраву. Тем более, что прототипом вальщика, поняли читатели, стал известный герой – лесозаготовитель Павел Попов.

После смерти Владимира в Свердловске вышел еще один сборник – «Немыслимый сентябрь», а позднее увидел свет поэтический сборник «Года на память», выпущенный московским издательством «Современник».

Биография поэта – биография непоседы. Родился в Актюбинске. После школы работал на заводах Свердловска, затем годы студенчества в Уральском госуниверситете. После – работал педагогом, служил в армии, был журналистом. За это время ему довелось жить в Ленинграде, на Урале, в Казахстане, на Камчатке, а затем уже на Тюменском Севере. Как вехи, как зарубки о тех местах, где

он побывал, конечно, не в качестве туриста, – его искренние, горячие стихи, так как, мотаясь по командировкам, не только писал стихи, но и набрался впечатлений, необходимых для творческого человека. И порой ему достаточно было ночи, чтобы написать сразу пять – шесть стихотворений. Так сильно было желание выплыснуть пережитое!

Владимир Кочкаренко стоял у истоков создания районного литературного объединения «Кедр» при газете «Путь Октября». Помню те вечера, когда он, весело и метко парируя аргументы, выдвигаемые в свою защиту обсуждаемым, председательствовал. Как много интересных людей разных специальностей, возрастов и профессий вмещала комната редактора Петра Александровича Пляскина в здании редакции по улице Зои Космодемьянской. Беседы, споры, стакан по кругу, табачный дым, стихи, стихи...

Молодой стихотворец проходил сквозь горнило жесткой, дружеской критики с твердым намерением никогда больше не браться за перо. Потому графоманам не на чем было расти, почва для них была не плодородной. Он был очень требователен к нам, молодым. Его заведомо отличала от других какая-то особая серьезность, ответственность за написанное слово. Такая атмосфера требовательности шла от самого Владимира Кочкаренко, его характера: Но это не значит, что он был суровым человеком, нет, он мог быть и нежным, и разумчивым, и лукавым.

Владимир Волковец,
член Союза писателей России.

АПРЕЛЬ

Пошли мне,
Пошли мне
сигнал на сердечной волне,
я – ухо природы,
я – годы,
простертые в память.
Пусть этот сигнал,
как скрипичный финал,
разразится во мне,
чтоб мне
дирижером помешанным
в публику падать.
И простенькой песней
свириели
приди ты по душу мою
и звоном капели по
тонкой лесной акварели,
пускай мне валторны
высоко и нежно споют,
ударят с позиций весны
соловьев батареи.
Прелюдий вешних мелодий
весь мир переполнив,
приди!
Сегодня у всех,
как у моцартов
слух абсолютен.
Весь город
у черных приемников окон
притих:
стук сердца,
стук сердца,
как музыку,

слушают люди.
Пусть каждый из нас
напевает ее про себя.
И вечер
чуть слышным смычком
напряженные трогает тени.
Как ухо огромное,
слушает звезды Земля
и первой травы над собой
поднимает антенны.
Спасибо за то,
что ты в тысячах
растворена
мелодий и женщин
и в свисте пернатых
бессонниц.
Бродя по дворам,
на шарманке играет весна.
И в тысячах глаз
по утрам отворяется
солнце.

Вы помните сладость
июльской погожей
поры?
Усталых машин в темноте
остывают баллоны.
И полночь,

как лошадь,
заходит в пустые дворы
и дышит теплом,
и вздыхает над лунной
соломой.

И яркое небо лежит,
горизонты обвив,
серебряным светом
текучим,
умы беспокоя.

О первой любви,
а быть может,
последней любви
с чуть слышной печалью
бормочет баян над рекою.

За стенкой корова
тягучее время жует,
сверчок на полатях
в свистульку базарную
дуется.

Верните мне юность!
Там снова я встречу ее,
красотку,
насмешницу,
музу мою молодую.

Суровою ниткой,
крепчайшею дратвой труда
сошьют трактора две зари,
что горят над пшеницей.

Как будто я девушку вновь
проводжаю туда,

как будто сегодня
мне девушка эта приснится.
За речкой березы,
туманные косы до пят,
и листья черемух от
лунного
света седые.

Намаявшись в день,
пожилые колхозники спят.
За день намотавшись,
поют на селе молодые...

Верните мне юность!
Я долго стою у окна.

Спят ветры,
как птицы,
в уютно упрятанных
гнездах.

И девушка
мимо по тропке проходит
одна,
и щеки ей студит речной
застоявшийся воздух.

Ты так же легко
по другой уходила тропе,
о музя моя,
исчезала видением смутным.
Я вспомнил тебя.
Вот петух одиноко пропел,
незванный петух,
окликая идущее утро.
Предутренним светом

сереют уже небеса,
вот первое облачко солнцем
наполнилось дальним.
Мы встретились, муга.
Расстались.

Вот день начался.
Прощай моя юность!
Как коротко наше свиданье!

ПЕСНЯ НА МАЛЕНЬКОЙ СТАНЦИИ

Кого ты ждешь, вокзал мой маленький,
хлебнувший ветра и дождя?
А тепловозы, словно мамонты,
трубят к вокзалу подходя.
Они тебя не замечают,
Для них ты – просто пустяки,
они уходят, не печалясь,
не спотыкаясь по степи.
А я на поезд не сажусь,
что мчится в сторону заката,
а я на поезд не сержусь:
он так торопится куда-то.
И сохнет ветер на губах,
и в окнах стекла запотели.
Как жалобы, по желобам
текают медленно недели.
Кричу товарным:
– Далеко вы?

...Идут вагоны, топоча.
И как в период ледниковый,
молчит планета по ночам.
Ну что притих, вокзал мой маленький?
Обидно, что не Ленинград?
А тепловозы, словно мамонты,
уйдут и вымрут в ледниках.
Живу здесь, словно иностранец.
Я снова остаюсь с тобой.
Нам только станция останется,
да отсыревший постовой.

Все с той же первобытной ленью
огни запутались в лесах
и отражаются селенья
созвездьями на небесах.
Плетутся лошади вздыхая,
плывут по темени Земли.
Вблизи Стожары догорают
и разгораются вдали.
С усталой мыслью о ночлеге
сквозь медленный болотный дым
скрипят межзвездные телеги
и пахнет сеном молодым.

ВОКРУГ МЕНЯ

Сижу на мертвом дереве, дышу
листвой шумящей
и знобящей глушью,
не знаю, для кого стихи пишу:
никто не слышит
и не хочет слушать.

Слежу, как суетятся муравьи,
Полет вороны провожаю взглядом.
Заботы жизни – вряд ли соловьи,
они – моторы, что гоняют рядом.
Тебе, мой век, не до моих стихов,
не до полян, светящих среди леса,
– до криков прессы
и до нервных стрессов,
чье время, впрочем,
быстро истечет.

Мне ж и того поменее дано –
лишь только этот лад и это слово,
пишу о том, что писано давно,
пишу о том, что под луной не ново.
Вокруг меня растения молчат
или стволы берез скрипят от ветра.
Пытаюсь заслонить однополчан
и припадаю к амбразурам века.
Хвалю простые радости земли,
переживаю раны и обиды.
Мои слова услышать вы б могли,
да перепонки грохотом забиты.

Как дерево, тянусь к груди небес,
ему и мне покуда жизнь дающих.
Я одинок, как этот летний лес,
за пазуху набивший птиц поющих.

Там лесной поселок за горой,
свет окошек,
на столбах сияние.
Дошагаю скоро расстояние
по обычной из лесных дорог.
Не родная все-таки земля,
но прижился,
и в таежной замяти
все стояли эти сосны в памяти,
как семья, где долго не был я.
Как семья, где горе заодно,
сообща на всех печаль и радость,
— хоть и не родная,
а в награду
от судьбы
мне ставшая родной.
Позади столичный гам и шум,
где томился и грустил два месяца.
Вот иду,
снега чуть видно светятся,
и притихшей выюгою дышу.
Над дорогой темною стеной
лес шумит,

и темнотою залило
небеса.
Лишь за горою зарево
все растет в стволах передо мной.
Хорошо вернуться из-за тысячи
бывших между нами лиц и верст.
Я домой иду.
И ветер тычется
в рукавицы, как любимый пес.

Коротки осенние дни,
особенно в дождь и ненастье
скучны и поспешны они,
но дали распахнуты настежь.
Деревьев рисунок сквозной,
полей помертвелая живость
с душой заодно обнажилась.
Вползают за шиворот сырость
и неба пустынный озnob.

Теперь понимаешь легко
все, что нелегко понималось,
и дали видны далеко,
и явственна каждая малость:
ворона сидит на столбе,
старуха бредет через поле...
Зажившие бывшие боли
и роли, что вышли тебе.

ОГДЕЛ
О-
ХРАНЕНИЯ

Советская
центральная научная
библиотека

61714-2

Так, значит, как раз хорошо
припомнить всю жизнь поминутно,
как будто ты шел и дошел
и впору назад оглянуться.

Листом, оборвавшимся с ветки,
на землю спускаешься ты.

Друзья растерялись по свету,
мечты оказались пусты.

Вот страсть, что навеки остыла.

Вот хмель, что уже не пьянит.

Вот женщина, что не простила
и уж никогда не простит.



Фомичев Владимир Тимофеевич родился на Смоленщине. Навсегда в его памяти запечатлелись страшные дни оккупации. Об этом и многие его стихи.

Владимир Фомичев прошел большую жизненную школу: учился, служил в Советской армии, работал – от разнорабочего до директора школы. Затем прочно связал свою жизнь с журналистикой. Пять лет работал в нашем районе, в газете «Путь Октября». И всегда, где бы он ни трудился, Владимир Фомичев оставался поэтом. Его стихи наполнены любовью к родной земле, к людям, мужественным первопроходцам Севера. Позиция поэта всегда четко определена, она гражданственна и патриотична. Владимир Фомичев – автор небольших сборников стихов, член Союза писателей России.

Спою о солнце,
Только прежде
О вечной мерзлоте
И льдах,
Июлях в меховой одежде,
Свирепых,
Как медведь,
Ветрах.

Спою о пляжах,
Только раньше
О нудной песне
Комара.
И как паут
Кроваво ранит,
Как заметает
Мошкара.

Спою о пальмах,
Но сначала
О неказистой
И кривой,
Что ласки в жизни
Знала мало,
Березке
На земле гнилой.

Спою о юге...
Только прежде
О северной,
Необжитой
И, как галактика,
Безбрежной
Земле,
Где ходим
Мы с тобой.

Нежностью наполнилась душа.
Ни коварства нет, ни лицемерья,
Ни прицельной жажды грабежа,
Ни обмана страсти беспримерной.

Нежностью наполнилась душа.
Позади – что низко и корыстно.
Не подросток, но, едва дыша,
Не решусь в любви своей открыться.

Нежностью наполнилась душа,
Как январь чистейшими снегами,
Как июнь вознею мурша,
Как изба горячими хлебами.

РАННИЙ ЧАС

Красну солнышку выйду навстречу,
На простор загляжусь неспроста:
Ведь не праздные мутные речи –
Хлынет в душу мою красота.

И услышу смоленские нивы,
И далекий увижу причал,
Где когда-то, на дружбу счастливый,
Я хороших ребят повстречал.

На шеломы похожие ели,
На платки расписные – луга...
Здесь душою мы все повзросли
И свои обрели берега.

Даль открыта, светла и безбрежна,
И я знаю: не властвовать мгле
На моей, как любовь твоя, нежной
И на ясной, как взор твой, земле.



Евгений Федорович Вдовенко член Союза писателей РФ, автор многих сборников стихов хорошо известен в нашем районе — и как поэт, и как атаман В.Кондинского казачьего округа.

Родился Евгений Вдовенко на Кубани, совсем молодым участвовал в ВОВ, затем долгие годы судьба его была связана со службой в Советской Армии. Его стихи — это разговор с современниками, близкими, друзьями, собратьями по творчеству. По духу своему — это исповедь искреннего и честного человека, не боящегося сказать своему читателю правду, какой бы горькой она ни была.

«Думал, здесь посовестней народ, —
Телом крив, зато душой прямее, —
Глядь, а тоже выгоду имеет,
Коль не наворует,
Так наврет.»

Сейчас Евгений Федорович живет в Тюмени, но душой и сердцем он с нами.

За Аленкой моей, за Аленой,
 За Аленушкой в поле иду,
 и звенит колокольчик зеленый,
 с чистым небом и сердцем в ладу.
 А тропинке-то
 сколько б ни виться,
 а не хватит ее на века, –
 и вот тут-то бы мне удивиться,
 но ведь я
 еще молод пока...

Еще, как будто, не старик,
 но седина по капле,
 как из-под камушка родник,
 сочится
 из-под шапки.
 Не мудрость чувствую, а боль
 под левою лопаткой, –
 как в доме вдовьем,
 там любовь
 живет во мне солдаткой.
 Не разделенная сполна,
 уже не первый месяц
 блукает по сердцу она,
 как –
 по ночному лесу.
 И я не жду уже чудес,
 на счастье не гадаю,
 а просто-напросто, как лес
 под осень,

облетаю.
Что ж,
я не вечен, как и ты,
любимая природа,
но вечен мир моей мечты,
не предан
и не продан.

3

Душно, что ли?
Шум в темноте ль
или в сердце тоскуют боли?
Мне приснится ночью метель
и дорога
в сугробном поле.
Руку теплую я сниму,
что меня обнимает нежно,
и шагну в кутерьму,
во тьму,
и загину
во тьме мятежной.
Но сперва я замерзну так,
что зуб на зуб попасть
не в силах,
и, наверное, вспомню, чудак,
о руках
молодых и милых...
Грудь дыханьем ты мне ожгла –
и в душе встрепенулось Слово:
то ли старость уже пришла,
то ли
юность вернулась снова?..

СВИРИСТЕЛИ

Помнишь, – прилетели свиристели,
мы кормили их
чуть не с руки?..

Вот они и снова прилетели,
а и мы –
еще не старики!..

Как зарею брызнули по выюге, –
сразу закраснел наш палисад:
самые чубастые пичуги
перед взором
так и колесят!..

Все едят, что дашь,
глаза нам грея,
но спешат, вот, сроду,
а куда?

Все – за холодами,
как добрее
райских кущей
эти холода!..

Помнишь? –
за веселой этой стаей
что-то упорхнуло и из нас,
что-то неуютное оставив, –
словно свет
до времени погас...

Знаю, ведь, как жизнь в пути сурова, –
чем помочь бы миновать беду?

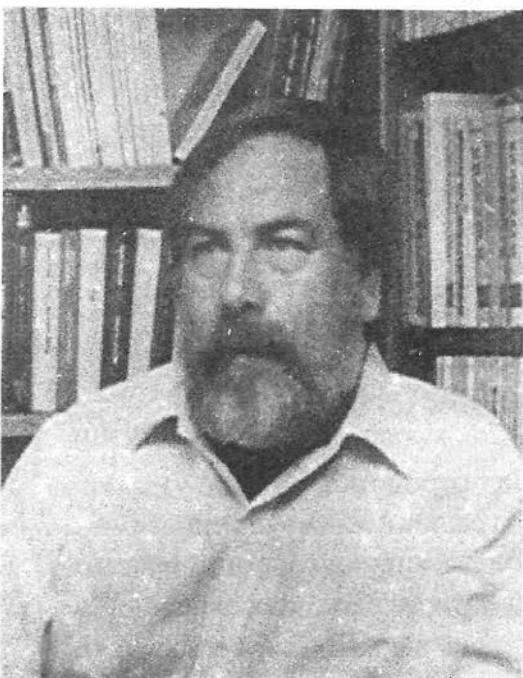
Ладно, хоть поели...
Может, снова

их увижу...
Ладно, подожду!..
Всем же нам нужна
живая помощь,
пусть на миг, но нужен передых,
а сейчас – особо:
ты же помнишь
нас,
как свиристелей молодых?..

УГРА

Монастырской тропинкой с бугра
Я спускаюсь к реке меж развалин,
Говорю ей: – Ну, здравствуй, Угра!
Что ж тебя так угрюмо прозвали?
Светел путь у нее до Оки,
Да и рыбы здесь вдоволь покамест.
Лишь угрюмы сидят рыбаки,
У которых глаза – поплавками.
Сел. Слежу за чужою удой.
Старый плащ тихо сгорблен
И скучен.
Полоснул меня бровью седой,
Мол, держался подальше бы лучше!
«Посижу, – я ответил, – пока».
Он кивнул.
Познакомился с фляжкой.
И когда поправлял червяка,
Леску в берег вдавил деревяшкой.

Видно, рыбные эти места
Не одной только рыбой костлявы.
– Где оставил? –
Спросил я спроста.
Он ответил:
– А тут и оставил!..



Губанов Александр Ильич родом с Дона. Окончил Волгоградский госуниверситет, служил в армии. Более тридцати лет живет в Советском, работая школьным учителем. Печатался в местных изданиях, еженедельнике «Литературная Россия», альманахе «Эринтур».

ОСЕНЬ

Приходит осень тихим шорохом,
Печалью смутною осин,
Сугробы листьев красным ворохом
С дорожной пылью замесив.

Она идет ночами темными,
По гулким спинам площадей,
Как женщина, руками теплыми
Ловя косую прядь дождей.

Приходит осень первым инеем,
Чуть видной сеточкой морщин,
Любимых глаз озерца синие
Ледком усталости прошив.

Над городом, в окошке узеньком,
Тетрадки нотные листая,
Взлетают руки грустной музыкой,
Как улетающая стая.

И я забудусь, завороженный
Полоской света на стекле,
Для всех чужой, для всех непрошенный,
А на заброшенной земле –

В пожаре рыжем тонут ясени,
И каланча не бьет в набат.
И дни головушками ясными
Ложатся в мягкий листопад.

Сяду в поезд, уеду на юг,
от снегов, обложивших поселок,
от забот своих, дум невеселых...
Разорву заколдованный круг –

Сяду в поезд, уеду на юг,
в толчее затеряюсь вагонной,
средь солдатиков в мятых погонах,
средь бичей и болтливых старух...

Сяду в поезд, уеду на юг,
в мандариново – райские дали,
нажимай машинист на педали,
погоняй свое стадо пастух...

Сяду в поезд, уеду на юг,
изменю свою жизнь и привычки,
и под грохот пустой электрички
буду спать как под пение выруг.

И приснится мне дальний поселок,
утонувший в глубоких снегах
там висит на оленьих рогах
небо низкое, будто полог

И от счастья захватит дух...
Сяду в поезд...
уеду на юг.

ШАМАН

Шаманский бубен
рекочет глухо,
шаманский бубен –
тамтам Югры.
На освещенном
пространстве круга
смрадно от водки
и от махры.

Шаман шаманит
в самозабвеньи,
шаман – как птица,
шаман – как зверь.
Смешной ребенок?
Иль неврастеник?
Или мошенник? –
пойди, проверь.

На черной шее –
медвежьи когти,
клык росомахи,
олений рог.
Под шкурой остро
взлетают локти,
и скалит зубы
безликий бог.

В багровом свете
зловещей тенью
сжимая души
летает страх,

и жмутся ближе
к огню олени
и небо виснет
на их рогах.

Шаман в припадке
исходит пеной...
Что он пророчит?
К чему зовет?
Какие беды
сулит вселенной?
Что накликает
на свой народ?

И эта пляска
была как повесть,
где в страшной схватке
сошлись два зла,
но где-то рядом
простукал поезд,
тайга очнулась
и ожила.

Два ассистента
несли проводку,
у вертолета
хмельной галдеж.
Пил оператор
с шаманом водку
и амулеты
менял на нож

.....

А после тлели
в костре поленья,
и выл тихонько

шаман как зверь.
Смешной ребенок?
Иль неврастеник?
Или мошенник? –
пойди проверь...

И стыло пламя
в глазах раскосых,
и что-то трудно
рвалось в груди,
и обступая
шумели сосны:
– не уходи,
– не уходи!

Девочка, нелепый аистенок,
Две руки – два тоненьких крыла...
Загрустила, и опять из темных
Тесных комнат тихо уплыла...

У тебя в краю твоем березовом
Мир нездешне свеж и языкат
Там на крышах аистенком розовым
Догорает брошенный закат,

Там над речкой, вечером апрельским,
Торопясь управиться до сна,
Почки набухающие с треском
Разгрызает пьяная весна

Там на зорьке звонкими бичами
Тишину расколют пастухи
И живет там просто, без печали,
Аистенок, любящий стихи.

Тоненькая, странная, белесая,
Знала б ты, как грусть твоя горька.
Для меня в краю твоем березовом
Не найдется нынче уголка.

Я надежно к прошлому пристегнут.
Что же делать? Про себя вздохну –
Девочка, нелепый аистенок,
Улетай, я руки распахну.

ПОЛЕ

Вот оно – тишина и раздолье,
Травы от ветра рябит.
Как же случилось, что поле
не для страды, а для битв?

В небе высоком – высоком
коршун крыла распростер
виден ли хищному оку
белый Мамаев шатер?

Видно ли, как под хоругвью
Дмитрия блещет шелом?
Пахано поле не плугом,
сено не зерном.

В топких низинах Непрядвы,
где гнездовался кулик,
ради сегодняшней правды
«пир бысть кровав и велик».

Славно сватов угостили,
вдосьть поили вином
здесь же и спать положили,
сами легли вечным сном.

Видно для сути мужицкой
поле – начало начал:
Жизни растило и жито,
радость несло и печаль.

Ну а беда приходила –
орало меняли на меч...
так оно, поле, и было –
и для страды и для сеч...

Снова здесь я рассветы встречаю,
вновь по травным полянам брожу,
котелочек с брусничным чаем
в огрубелых ладонях стужу.

Снова я непонятно тревожный,
ропот листвьев мне в душу проник.
Над костром в глухомани таежной
тихо плещется звездный родник.

Чуткий зверь переходит болото,
режет птица крылом тишину
И великий таинственный КТО-ТО
прямо в душу мою заглянул.

Одиночество, ночь и зарницы,
божий мир осеняет покой,
только листья, как желтые птицы,
смутно реют над черной рекой.

Я лежу у костра. Где-то рядом
осень тихо шуршит листопадом,
искры прыгают в синий воздух,
превращаясь в далекие звезды.

МИШКА

Отец не пришел с войны, а мать, когда Мишке было уже лет шесть, скирдуя колхозное сено, решила скатиться со стога и напоролась на забытую кем-то заостренную слегу. Дубовая отполированная жердина вошла в нее, разорвав все внутренности. Так и принесли ее домой, коротко отпилив лесину, — вытащить ее ни у кого не достало духа. Ни больницы, ни врача в хуторке не было. Присылали по весне фельдшерицу, да та вскорости сбежала — то ли в райцентр, то ли куда еще дальше.

Мать положили на широкую лавку, и какие-то собравшиеся в избу люди подвели Мишку к ней и молча стали вокруг, с привычным равнодушием ожидая недалекой уже смерти. Кровь текла уже несильно, и какая-то женщина время от времени подтирала ее на полу. Мишка ничего не понимая, стоял возле матери. Она была еще молодой и красивой, и ее серые глубокие глаза не смаргивая смотрели

на него. Мать не стонала, не кричала. Все ее уходящие силы нужны были ей, чтобы сказать сыну что-то такое, без чего он не сможет жить дальше один, но и на это сил уже не было.

Мишке было страшно, он чувствовал, что пришло что-то ужасное, но его мозг не мог осознать этот ужас и он сжался весь, оцепенел, и так же, как мать на него, безмысленно смотрел в ее остановившиеся глаза. Ему хотелось убежать, спрятаться в сарае, на сеновале, но руки и ноги были чужими, ему казалось, что и сам он – вовсе не он, а кто-то посторонний и чужой, как все стоящие кругом люди. Мать вскоре умерла, а Мишка с того времени перестал говорить. В хуторе сначала об этом судачили, жалели сироту, но... своих забот и бед хватало. Да и привычен русский человек ко всякой напасти, привыкли и к Мишкиной немоте и стал он чем-то вроде местного дурачка, каких, слава богу, всегда хватало в любой русской деревне.

Лечила Мишку бабушка.

Она оглаживала его голову и лицо шершавыми темными руками – от них пахло солкой и травами, и что-то шептала, шептала над ним, и сквозь поламывающую дремоту до него доносились какие-то шелестящие слова, вроде как бы восковые:

– Ссподи... Христе сыне наш... раба божия Михаила... от нечисти и испугу и сглазу... и всякой болести... Пресвятая Дева богородица...

Она еще долго шептала над ним, покачиваясь и притоптывая вокруг него, потом брала ковшик со студеной водой, и, держа его над головой Мишкиной, почти касаясь ее, выливалась в воду кипящий воск. Воск шипел и брызгался, и что-то неведомое и холодящее входило в душу Мишки, ему было страшно и легко, хотелось плакать долгими счастливыми слезами... Бабушка еще что-то шептала об «испуге и сглазе», а потом подносила ковшик к самому лицу его и говорила тихонько:

– Испей, внучек, испей и полегчает.

Мишка осторожно вытягивал губы, пил, и холодная, благостная вода шла по всему его телу, разливалась по его рукам и ногам, а бабушка водила коричневым пальцем по узорам воска и приговаривала:

– Вот она, беда твоя, сыночка, вот она, вишь куда взобралась... а мы вот ее и достанем, и вытянем его, врага нашего. А ну-кось, сына, подуй на него, да и плюнь трикратно через плечико.

И Мишка, со страхом различая в линиях воска чьи-то знакомые черты, дул на них, сплевывал через плечо и, пытаясь повторить вслед за бабушкой – «тьфу, тьфу, сгинь нечистая сила», широко раскрывал рот и, напрягаясь горлом, мычал:

– Ы-ы-а-а-ы...

Лечила бабушка долго, исхитрялась всяко, да не могла ее бесхитростная бормочущая доброта понять, что с внуком. И лечила она его, как лечили на Руси еще до того, как пришел на нее страдающий и немощный Христос: заговорами да травками, настоями да паром над чугунком с картошкой от всех болезней. И смешалось в этих заговорах все: архангелы и домовые, а истощенный Христос, с кругами под глазами, стал одним из бесчисленных деревенских богов, который и корове разрешиться поможет, и зуб уймет, и землицу дождиком смочит.

Так и рос Мишка в полутемной избе вместе с ягнятами, поросятами и телятами, которых бабушка после их появления на свет брала в тепло. Теленок и поросята обитали в загородке, а ягнята, – как мелкие бесы, скакали по всей избе, разбрасывая повсюду свои дробные твердые катышки. Мишка играл с ягнятами, и порой бабушка прикрикивала на них, совершенно не делая различия меж ними. Да и Мишка не знал никакого отличия от своих маленьких товарищей по играм. Он был таким же как они,

бессловесным, доверчивым и любопытным.

Настоящий праздник бывал, когда корова разрешалась телочкой. Бабушка давно собиралась поменять Зорьку, стара стала, да так все и не поднималась рука на кормилицу. Да и то, корова была – клад. Из стада вечером, мыча, бежала домой и подойдя к калитке, нежно и тягуче звала хозяйку – знала, что без хлебушка с солью не останется. Молока давала много и жирности высокой, что особенно было важно в тяжкие послевоенные времена, когда каждый крестьянский двор должен был сдавать государству множество разных видов налогов и молочко в первую очередь. Бабушка хвалила Зорьку, звала ее кормилицей и спасительницей, ворча про себя:

– Хучь ба он захлебнулся твоим молочком, Зорюшка.

Кто Он – бабушка не разъясняла, и Мишке представлялся кто-то огромный и страшный, ведрами пьющий молоко, которое каждое утро бабы и дети постарше сносили на колхозный сепаратор.

Как и все мальчишки деревенские, бегал Мишка босиком с апреля до ноября, но было в нем что-то, от чего хуторские женщины, сплошь безмужние, кричали своим «иродам», если видели их вместе с «немтырем»:

– Ванька, иди щас жа домой, сукин сын, иди, кому говорю! – и взяв шелыжину, грозно надвигалась на них. Ванька, утерев нос рукавом, припускался по улице, только пятки по заднице стукали, а Мишка стоял на месте и черными узкими глазами смотрел на тетку Варвару или Марфушу, и та вдруг останавливалась, крутила головой, и, будто вспомнив что-то, поворачивалась, и чуть не рысью бежала домой – бог знает, чего от него ждать, порченый он и есть порченый.

Однажды летом, когда Мишке было уже двенадцать лет, бабушка велела ему одеться в чистое, намазала его жесткие черные волосы керосином, причесала, как могла, взяла в руки пестрый узелок да палку, и они отправились за много

километров, в соседнюю область, к деду Исаю, человеку святому и одинокому. Жил он лето на пасеке, а на зиму перебирался в деревеньку Кленовку. Жил тихо, и власти его не трогали. Скота Исаи не держал, двор и домишко его, бывшие несколько на отшибе, отличались чистотой и уютностью. Вечером Исаи зажигал керосиновую лампу, мыл руки, садился к столу и читал большую толстую книгу, далеко отстраняя ее от себя. Людская молва о целителе Исае разнеслась далеко, и к нему шли и ехали люди с разных, иногда очень далеких, краев. Безли больных; отчаявшись в докторах, как на последнее чудо надеясь на Исаево слово. И Исаи творил чудо. Он лечил от черной немочи и падучей, у него обретали руки и ноги паралитики, притихали буйные и запойные. Желтые костищие люди, с большими глазами и тонкими как лоза руками и ногами, уезжали от него ожившими и просветлевшими. Правда и то, что не всякого брал к себе Исаи. Иной раз посидит, посидит, посмотрит на гостя, а потом отзовет отца либо мать, а то и наоборот – сына или дочь – и скажет глухо:

– Ты вот что, мать, не серчай на меня, а только тут я беспомощный. Не в моих силах такое, да и не в божьих, думаю. Вези, мать, домой, а через недельку и к соборованию готовься.

– Сжалась, смилился, голубчик, – голосила старуха, – одна надежда, один свет у нас Петенька, не оставь, родименький! Я вот тут гостинчик припасла...

И дрожащими руками принималась развязывать свой узелок, а губы ее прыгали и в потухших глазах застывало одно только горе и боль материнская. Но Исаи жестко отводил протянутые руки и еще более далеким голосом доканчивал:

– Не могу, мать, не возьму грех на душу. Уж я вижу, когда можно, а когда нет. Вези и готовься, как сказал.

Исаи поворачивался и широко уходил к ульям, а на земле

долго еще билась и причитала сухонькая фигурка, а с крестьянской телеги молча смотрел на нее безучастный ко всему высохший Петенька.

Шли они долго, то степью, то рожью, заходя в деревушки и ночуя у добрых людей. Тогда еще можно было зайти почти в любой дом, лучшее победнее, попроситься на ночлег, и – пускали. Мишке стелили на лавке, а бабушка с хозяйкой до темна сидели у завалины, не спеша беседуя о своих горестях и нуждах. Ложась, бабушка подходила к Мишке, поправляла фуфайку у него в головах, шептала над ним молитву на ночь, крестила и, вздыхая, укладывалась на полу рядом со скамейкой.

Вставали до свету. Хозяйка, бесшумно суетясь по хате, наливала им по кружке парного молока, совала горбушку, завернутую в чистую тряпочку и провожала их до калитки.

– Спаси Христос тебе, Ивановна, – в пояс кланялась бабушка хозяйке.

– С Богом, Нифантьевна, – отвечала та, и долго стояла в калитке, пока не скрывались за поворотом две темные фигурки.

В полдень останавливались где-нибудь в балке у воды, под деревом. Бабушка развязывала узелок, доставала яички, разворачивала бумажку с крупной солью, мелко наламывала черный хлебушко, и они ели, запивая холодной водой. Потом бабушка задремывала, а Мишка долго лежал на спине, прислушиваясь к шорохам в траве и в листве и глядя в глубокое бесцветное небо с редкими пушинками облачков. Что-то трудно ворочалось в нем, в сердце или голове, он никак не мог поймать это «что-то», ему становилось вдруг страшно и он, дрожа, будил бабушку. Та просыпалась сразу, притягивала к себе его голову и начинала ласково говорить с ним, поглаживая по голове и спине. Он утихал, слушал, а потом глаза его закрывались и он засыпал, уткнувшись в темную цветастую кофту бабушки. А она лежала, полная

горя, и все разговаривала с тем, от кого ни разу не слышала ответа:

— Осподи, помоги ты ему, осподи, один он на свете, а я уж стара и не опора ему. Смилуйся, над отроком твоим, сподобь милость твою или уж прибери его, чтоб не мучился в миру средь людей. Нехорошие к нему люди, злые, а здесь ведь ласка нужна, в ласке-то он ягненок... Кабы жив был отец его...

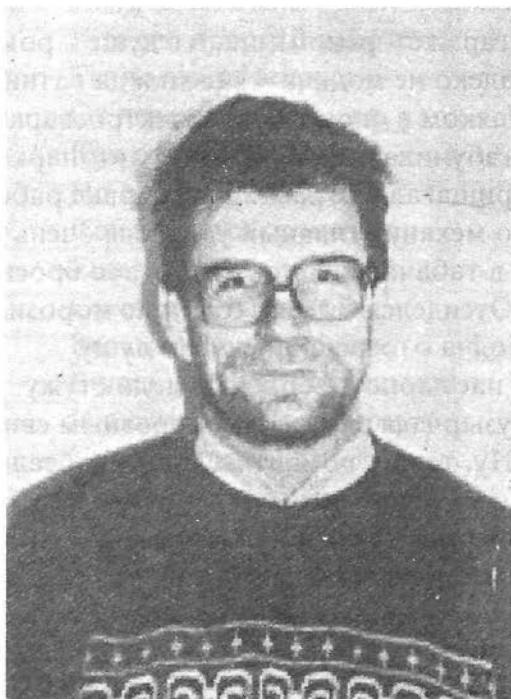
И редкие слезы выкатывались из ее глаз, как всегда, когда вспоминала она о своем сыне, не пришедшем с войны. Закопали где-то родимого, а и поехать некуда, где она, могилка его... И писала, и людей расспрашивала, да все бестолку. Канул ее Степушка, как в воду, и кругов не видно. Это для нее он единственный, ненаглядный, а там-то их, небось, тыщи были, где уж упомянуть всякого...

Далеко заполдень будила она Мишеньку, и они шли дальше, по пыльным дорогам, под дождем и солнцем, два человека, две души, родные и одинокие в этой непонятной и жестокой жизни, без добра и Бога, шли, пока не превращались в маленькие черные точки и не терялись в бесконечных поворотах и просторах их неласковой земли.

Исай помог. Говорить Мишка стал. Тяжело, с усилием ворочая языком, но научился. Но вместе с речью к нему вернулась память. Как будто невидимая заслонка открылась вдруг где-то там — в головели, в глазах... Время сдвинулось, не было шести лет беспамятного существования. Он с отчетливой ясностью увидел мать, лежащую на лавке, ее глаза, с бесконечной скорбью глядящие на него, и обпилок жерди, из-под которого стекала медленная кровь. Мишка заплакал — впервые после смерти матери. Нет, он знал, что она умерла давно. И она умерла только что.

Бабушка прожила еще два года и тихо, незаметно как-то, угасла. А Мишку, который остался совсем один, втянула и понесла по ухабам и колдобинам жизнь, какою жила в то

время вся полуголодная страна. Но всегда, уже будучи юношой, потом взрослым мужчиной, Михаил удивительно ясно ощущал присутствие матери. С годами облик ее очистился от всего грубого и вещественного, чем сопровождается смерть, и осталось только прекрасное лицо ее и глаза, в которых уже не было боли и страдания, а была только бесконечная доброта и любовь к нему. И эта любовь помогла ему выжить.



Волковец Владимир Михайлович родился в 1953 году в п.Чур Удмуртской АССР.

Окончил Шарьинский совхоз – техникум в Костромской области и Литературный институт им. А.М.Горького. Служил в армии, работал в Советском лесокомбинате.

Автор поэтических книг «Сосновый дом» (1982), «Отцовский лес» (1986), «День начинается с ветра» (1991), «Встретимся в августе» (1994), «Осень на Севере» (1998).

Член союза писателей России с 1988 года.

РЕМОНТИКАМ - РОМАНИКАМ

1

В гараже – ремонтник, а в душе – романтик,
Далеко не модник – валенки да ватник.
Маяком в округе пульс электросварки.
Стабунила выюга КРАЗы в автопарке.
Пришагал как равный в сумраке рабочем,
Но механик главный удивился очень
И в табачный гомон грубо ватник бросил:
– Отсиделся б дома, сопли не морозил...
Молча отогреет у печурки душу
И настырно лезет в яростную стужу.
Пузырится ватник под морозным свистом.
– Ну, терпи, романтик, станешь реалистом!
В суете азартной лед дробит и колет,
Ломом и кувалдой разгоняет холод.
Со стараньем явным лупит что есть мочи,
Чтоб механик главный удивился очень.

2

В морозном сиянии дня
Стеклянные всполохи сварки
Крупой золотого огня
Засеяли снег в автопарке.
Сшивая ответственный стык
Привычной иглой электрода
Напарник пытливо приник
К щитку, как зрачку микроскопа.
По стыку послушно текла
Стихия расплавленной стали.
И два вдохновенных крыла
Над ним высоко трепетали.

На радость непогоде
 На кране лопнул трос.
 К такой простой работе
 Ты подошел всерьез.
 От перехлестов выюги,
 Как от огня горишь,
 Но отогреешь руки,
 Концы троса срастиши.
 Еще устроишь хохму
 С метелью снеговой –
 Возьмешь ее за космы,
 Вплетешь в канат стальной.
 И в сумраке спокойном
 Увидим вдалеке,
 Как выюга ватным комом
 Обвиснет на крюке.

И вспомню день разлуки:
 В кабине тягача
 Глотали спирт из рюмки
 Торцового ключа,
 Как рукавом занюхав,
 Твердил в десятый раз
 Электросварщик Сухов:
 – Не забывай про нас...
 И остальные дружно
 Ему кивали в лад:
 – Вертайся, если нужно.
 Тебе здесь каждый рад...
 Бывало в жизни много
 Веселых передряг,

Но позабыть дорогу
К друзьям не мог никак.
Решусь однажды только
Обратно повернуть,
Как серая поземка
Перебегает путь.

5

Соломенную сушь
Срезал короткий дождик.
По серым слиткам луж,
Глава работ дорожных,
Бульдозер проходил.
И на отвале тяжком
Державно приносил
Пласти травы в ромашках.
И падал березняк,
Бульдозером теснимый,
Зажав в тугих корнях
Кусок земли родимой.
За нами в две плиты
Струился путь бетонный
Длиной в три версты.
В три пота просоленный.
Душа стонала от
Вины и речь немела,
Когда кричал: Вперед! –
Начальник то и дело.
Когда ж брели назад,
То видели устало –
Повдоль пути лежат
Деревья как попало.

ВЕСНОЙ НА РЕКЕ

Уже озеркален и кротко расхвоен
Речной солнцепек, и заметно подмок,
В холодной испарине жадных промоин
Готовит вода за подвохом подвох.

То ржавью набухнет тропа посредине,
То трещиной сдвинет недавний привал,
То окуня на отколовшейся льдине
Теченьем подхватит пока ты зевал.

И дышит сквозь лунки разбуженный омут,
И как в телескопы, глядит на луну.
Он полуметровою крышкой прихлопнут,
В нем рыба на ощупь гуляет по дну.

Обвальнее снег и обильнее солнце.
Заставит весна потесниться Сибирь,
Когда разгребая заторы и сосны,
Привстанет река и расхлынется вширь.

Шальная моторка в потемках воткнется
В густое скопление звезд и коряг
И высь покачнется, и глубь содрогнется,
И замер – взлетать или падать? – во мрак.

НА ПОЛУСТАНКЕ

Слова, слова – на что они,
Когда нас только двое,
А сумерки настоящи
На комарином звоне,
А ночь в объятьях тополя

Разнеженна, а звезды
Сочатся сквозь подобия
Тенет – пустые гнезда.
Состав пройдет по станции,
Не замедляя бега,
И на судьбу растянемся
Мучительное эхо.

Как примеришь по судьбе,
Так обвыкнется.
Как аукнешь, так тебе
И откликнется.
Где с морозами зима,
Лето – с грозами,
Где соцветьями весна,
Осень – гроздьями.
Пьем, работаем, поем
Мы на Севере,
Не всегда, бывает, жнем,
Что посеяли.

ЧЕЛОВЕК С ЧЕМОДАНОМ

По вечерней улице еле плелся, вздыхая, оглядываясь, о чем-то с самим собой споря, кого-то отчаянно моля, человек с большим чемоданом.

Словно опомнясь, остановился и трезво посмотрев вокруг, присел неподалеку от меня на скамью, закурил, ссугутился. Ему наверняка некуда было идти с этим тяжелым, как семейная драма, чемоданом.

Но внезапно он выпрямился и пристально посмотрел в конец улицы. Неужели на что-то решился?

Шла машина «Медвытрезвитель». Он выбежал на проезжую часть и сел на чемодан. Машина резко остановилась. Сержант что-то крикнул ему, приоткрыв дверцу. Тот не шелохнулся, только поднял на него мучительно – тосклиwyй взгляд.

Служитель порядка взял послушно поднявшегося гражданина за локоть и довел до зарешеченной двери. За нею и скрылся странный человек с чемоданом.

Ничего, успокаивал я мысленно, чем-то симпатичного мне незнакомца, бывает. Все в жизни бывает...

У ТЕЛЕВИЗОРА

Вечером у телека семья собирается вместе: мать – инвалид, дочь – учительница, ее муж – простой работяга. Зять спрашивает:

- Теща, что на ужин варить будем?
- Ты поможе, соображай!
- Жена, что варить будем?
- А я из гостей, сытая, – она успевала перекусить в дешевой школьной столовке.

Мужу ничего не остается делать как идти на кухню и что-то готовить на скорую руку для себя и тещи.

В другой раз, если нечего перекусить, мать спрашивает дочь:

- Где муж-то?
- В командировке...
- Оно и видно. Хлеба второй день не куплено.

И демонстративно наливает кружку кипятку, размачивает сухари, ест...

Такая вот обыденная картинка. Но именно в ее

привычном безличии понимаешь, насколько не любовь, не долг, а крыша и стены объединяют этих родных людей.

ВОРОБЕЙ

В целлофановом пакете, брошенном на дороге, ветер пересыпал горсть хлебных крошек. Воробей прыгал вокруг, принаршиваясь поклевать. Порыв воздуха раздул пакет и воробей, не раздумывая, скакнул вовнутрь. Ветер стих и мешок ослаб.

– Попался, рыжий!

Так в пакете и принес его домой. Воробей сразу почувствовал открытую форточку. Как только вытряхнул его, вспорхнул и сел на краешке. Заметил, хитреныш, на столе рассыпанную крупу и не улетал. А может и понял, что я его неволить не стану: захотел, пожалуйста, лети. А домой принес лишь потому, чтобы хоть с какой-то живой душой разделить одиночество свое.

САПОГИ

Тысячами ледяных иголок ощетинился сугроб возле калитки. Грязный и плотный снег скользко хрестел под новыми кирзовыми сапогами. Сапоги Феде привез отец из Красногорска. Его вызывали в район, чтобы торжественно вручить грамоту за работу. Отец четырьмя кнопками по углам прикрепил ее в простенке рядом с численником. Потом развязал вещмешок, запустил в его таинственную темноту руку и вытащил сапоги, – маленькие, пахнущие магазином. Повесил на шею разинувшему рот сыну.

– Встречай, наследник, весну в новых сапогах. А это тебе мать, – он протянул бумажный сверток. Мать развернула

бумагу и оттуда мягко упало темное цветастое платье. Материал приятно шумел под пальцами.

— Шелковое, что ли? — спросила мать, примеряя платье к плечам у большого зеркала.

— Шелк. А это нам со старухой, — отец вытащил из сморщенного вещмешка бутылку водки и несколько кругов копченой колбасы. Бабушка с недовольной, кривой усмешкой молча приняла этот дар, положила на кухонный стол.

Федя стал спешно примерять новые сапоги. С толстыми шерстяными носками они ему были в самый раз.

— По водешибко не ходи, — напутствовала собравшегося на улицу сына мать.

За калиткой солнце ослепило Федю. Он зажмурился. Потом долго, крепко сощурившись, привыкал к свету, к лучисто брызгавшим с крыш каплям, стеклянно рассыпчатому снегу, к веселому ручью, который свернув с уличной колеи, заползал под сугроб.

Федя пристально посмотрел в оба конца короткой улицы-никого. Ему стало тоскливо, он острым концом подошвы поковырял заледенелый снег, прошелся по узкому желобку ручья. Такому узкому, что сапог только-только влезал в него. Оглянулся — никого, только синицы да воробы, звонко попискивали, прыгали по веткам березы, неуловимо растворявшиеся в густой синеве марта.

Сочно хлюпая по ручью, Федя не заметил, как дошел до крайнего дома, где жил его сосед по парте, его двоюродный брат, Семка. Заходить к нему не было никакого желания, но и стоять одному посреди улицы было скучно. Он решился крикнуть:

— Семка! Пойдем гулять!

— Экой гулеван! — засмеялся сзади кто-то. Это была Семкина мать, — сейчас выйдет, с сестренкой нянчится.

Через минуту вышел Семка с лопатой в руках:

— Пошли с сарайки снег скидывать. Покатаемся. Знаешь,

как здорово, – с крыши.

– А мне папка сапоги привез, – решил похвастаться Федя, раз никто не замечает обновку.

– Да-а, ничего кирзуха, – почтительно протянул Семка и посмотрел на свои валенки с тяжелыми резиновыми калошами. Большего Феде и не надо было.

По лестнице они залезли на снежную крышу сарая. Восторг охватил Федю. Солнце такое яркое и большое было совсем рядышком, в развесистой кроне березы. Можно было до него лопатой дотянуться. Изумленно оглядев широко распахнутый мир крыш, огородов и деревьев, они, увязая в снегу, спустились к краю крыши. Обрубили лопатой квадратный кусок снега и он шумно бухнулся вниз. На следующем снежном квадрате, задорно визжа, съехал брат. Румяный, сияющий, он поделился впечатлением полета с Федей:

– Ух, как здорово! Давай, ты! Не трусь!

Федя сел на снег. Семка сзади добросовестно обрубил лопатой с трех сторон пласт и подтолкнул. Резкий вдох, порыв, восторг полета и... он по шею в тяжелом, мокром снегу. Захотелось еще и еще, и долго испытывать сладостный миг – лечу!

Радостные и мокрые, в синеющих сумерках, расстались они. Дома Федю встретила бабушка, мать с отцом ушли по гостям, запричитала взглянув на сапоги и счастливое лицо внука:

– Господи, да в кого ты такой не экономный. Посмотри, что ты с сапогами сделал. Промочил, ободрал новизну. Скорей сымай, пока отец не пришел и не всыпал. Ешь и спать.

Он посмотрел на сапоги, носки их побелели, голенища раскисли и выглядели уныло.

Всю ночь Феде снилось, как он летает над огородами, домами, деревьями в новых кирзовых сапогах.



Станислав Юрченко родился в г. Кривой Рог. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Работает инженером – строителем. Автор сборников «Причастие» и «Листопад».

ПРИЧАСТИЕ

Пронеслись над страною невзгоды,
злыми шрамами души изрыв.
В эти послевоенные годы
Я родился, и вырос, и жив.
И мотало меня по вселенной
в поездах, как в казачьем седле,
по лесным гарнизонам военным,
по широкой российской земле.
Рос, как все, обдирая коленки,
каждый знал за околицей куст.
В эти годы не ставили к стенке
за разбитый нечаянно бюст.
Но уже педагоги успели
содержание каждой строки
разъяснить мне. И слово «сидели»
понималось, как слово «враги».
Я на взрослых смотрел удивленно,
если слышал о мысли иной.
Только дед улыбался смущенно,
возвратившийся прошлой весной.
Годы шли. Сомневаясь и споря,
я решил наболевший вопрос –
кто же эту осеннюю горечь
в нашу жизнь непростую принес.
Фолианты глотая средь ночи,
обжигался, грустил и мечтал.
Вместо приторно – правильных строчек
я тайком, словно жулик, читал

книги, что не однажды казнили.
И листая страницы, постиг
правду ту, не которой учили,
принимая ее, как постриг
С многоцветьем иллюзий прощаясь,
матерясь, матеря все в пути,
я все чаще себя ощущаю
пацаном у иссохшей груди.
Три сосны над бревенчатой могилой –
от счастливого детства ключи.
Скольких здесь беспределом скосило,
невзирая на званье и чин.
Затоптали мечту. Кто поднимет?
Три свечи – три сосны на яру.
Пусть простит меня тот, кто под ними,
за которого нынче живу.
Что, Россия, с тобою? Ответь мне.
Замесили замес на крови.
Переломанное лихолетье
не исчезло. За мною стоит.
Нам сегодня воздалось сторицей
то, что не сохранили с тобой.
Только знаю: должны возродиться
совесть, вера, надежда и боль.
Где бы черти меня ни носили,
я тебе свои песни пою.
Причасти же меня, мать Россия,
дай почувствовать душу твою.

ИСПОВЕДЬ

Я – зек,
обыкновенный русский малый,
вредитель,
как и прочие со мной.
Каналармейцем к Беломорканалу
я послан нас простившую страной.
И реабилитируя домашних,
работая ударно, без затей,
тихонько забываю день вчерашний
и даже имена своих детей.
Любимая страна социализма
мне прибавляет бодрости и сил.
Ведь даже Горький, бог соцреализма,
меня однажды как-то посетил.
И оглядел отечески и строго,
напутствовал: победа – впереди,
штурм – до победы, нет иной дороги.
До хрипа.
До последнего «прости».
Сквозь гарь и кровь,
сквозь грязь и лютый голод,
безумных мыслей скрученную нить
я побеждал, чтобы увидеть город,
которому обязан правом жить.
Далекий свет забытого порога
сияет путеводною звездой.
Перекрестись тайком. Еще немного –
и в дальний путь, на родину, домой.
Меня ударит насмерть на рассвете

письмом твоим коротким. Как в дыму:
живут одни в пустой квартире дети,
в Кресты забрали брата и жену.
И тьма настала черная и злая.
Зачем, великий вождь, народов свет,
ты обманул меня, конечно, зная,
что выхода для нас отсюда нет.
За веру в чудо шел в любое пламя,
но чудо пережив – за все плачу.
И размахнувшись, опускаю камень
на голову и совесть палачу.
Расстреливать, конечно, будут ночью.
А, может, днем. Мне, в общем, наплевать.
Я даже знаю, где меня прикончат,
и с кем положат рядом отдыхать.
Погас, сверкнув, последний луч заката.
Листок березы на ветру дрожит.
Я попрощался. Мы не виноваты.
Над мачехой – Россией мрак лежит.

РОДОСЛОВНАЯ

1

Мы – дети антов и славян.
И жертвенность Ярилы
у капищ и лесных полян
Надежду нам дарила.
В верховьях ласковой реки,
где кривичей пределы

лежали, дики и редки
на грань водоразделов
сходились в схватках племена
за женщин и пространство,
но прорастали семена
и зрело постоянство
в забытых пращуров делах.
Еще вершили судьбы –
луна и солнце, боль и страх,
бога, лихие люди,
ветвей мельканье, снега хруст
под звездным покрывалом.
Еще ты не всесильна, Русь!
Еще щитом не стала
твоих князей великих длань
безудержным набегам.
Все так же трепетную дань
разбойным печенегам
платили зубы сжав. Война
в дымах, колючих ветрах
к огням священным Перуна
несла святые жертвы.
Еще не встал престольный град,
Днепром укрывши спину,
а гордый Кий уже в Царьград
водил свою дружину.
И Рюрик ладожских болот
уже застроил землю.
Врастался и мужал народ –
немногословный, древний.
И Константиновы гонцы

к порогу Святослава
несли христовые венцы
и летописей славу.
Но не спокоен горизонт.
От табунов несметных
закрыло пылью землю.
Стон
твоей любви заветной
вновь звал на ратные дела.
Богатырей родила
и к отомщению звала
возделанная нива.
Чтоб не терзала саранча
отцовские посевы,
ты вновь рубил мечом с плеча
направо и налево –
не изменив своей судьбе,
перетерпев оковы,
от Александра на Неве –
до Дмитрия Донского.
Словам Великого Петра
мы и поныне внимлем –
свела в кулак его рука
истерзанную землю.
Но Вера – мудрости сестра
вела вперед. И крепло
все, чем гордилась и жила
моя держава.
Ветры
ее просторов и небес
нас поднимали в небо.

Магнитка. Север. ДнепроГЭС.
Ревстройки и комбеты.
Тридцатых голод и разор.
Крушение устоев.
И окровавленный топор
над втоптанной страною.
Баланды лагерной кисель,
изверившихся лица.
Войны свинцовая метель
и мертвые глазницы.
Победы долгожданный день,
земли вздохнувшей раны.
И исчезающая тень
ушедшего тирана.
Как хочется мне иногда
пойти и поклониться
годам потерян, годам труда
и мужественным лицам.
Сквозь пыль исчезнувших веков
господствует, как прежде,
одна лишь Вера – где Любовь
повенчаны с Надеждой.

2

Брезжит север зарею кровавою,
насторожены лица людей.
Волны бьются студеною лавою
о борта уходящих ладей.
Безотчетно глаза воспаленные
берег полденных скал проводив
повлажнеют. До черни смоленые
груди древних поморских расшив
пенный след оставляют. Не вешены,
чуть знакомы дороги туда,

где крестами обжит почерневшими
неуютный, манящий Грумант.

Черный ворон фиорда скалистого –
вероломного ярла драккар
распаляется взглядом завистливым.

Черепов лошадиных оскал,
блеск кольчуг, изготовленных фряжскими
мастерами, руками рабов.

Ненасытно злой варяжскою
дышил небо. И тускло свинцов
горизонт неподвижный.

Мозолисты
руки русичей.

Нетороплив
и спокоен ватажник.

Позволит ли он отнять эту волю?

Мотив

песен старых, сказаний загадочных,
исчезающих в мареве льнов
раздвигает стекло незагаженных,
странны сколотых, зубчатых льдов.
Вечный зов поколений исчезнувших
вел вперед и на этом пути
образа на рассохшихся, треснувших
досках славили подвиг.

Уйти,
от намеченной цели немыслимо,
от проторенных троп и дорог,
от отцовских наказов, от истины,
утверженной у красных ворот
новгородской посадскою вольницей.
Славься Русь, разрастайся, живи!
За тобою никто не угонится,
не тревожься за берег – плыви.

Над Обью чайки.
 Ветерок,
 рожденный утром, разыгрался.
 И за излучиной остался
 обжитый нами городок.
 На крутояре кедрам зябко,
 и вязко падая с небес,
 как будто согревая лес,
 одета облачная шапка.
 Мне этих мест не разлюбить –
 соров просторы, рек бурливость.
 Природа мне дарила милость
 в ее нетронутости жить.
 В ее волнении раздольном –
 Сибири мощь, России щит,
 и, как орган в концерте сольном,
 ее величие звучит.
 Все мы – от плоти плоть земли,
 все мы – ее родные дети.
 А разве есть на целом свете
 дороже к матери любви.

Если мне этот мир вдруг придется покинуть до срока,
 отпустите грехи и простите бедняге долги,
 поднимите бокал за меня, чтоб не так одиноко
 мне светила звезда и скрипела сосна у реки.

Ну, а если Господь мне отмерит прожить до предела,
 старых, верных друзей соберу у живого огня.
 Поднимите бокал за меня, чтобы песня звенела
 и красивые женщины вновь обнимали меня.

В.Бурьяннову

Друзья уходят слишком рано
не вовремя и навсегда.
Из незакрученного крана
на кухне капает вода.
Стучит так нудно, монотонно,
огнем пульсирует в висках
Заснули все
И город сонный
качают звезды на руках.
В день смерти, как и в день рожденья
мы одиноки и прости.
А все слова и сожаленья
так мимолетны и пусты.
Утрачен смысл,
ход венчая,
надежд, сомнений и идей.
И сосны, ветками качая,
хранят покой моих друзей.
Кто чуть короче, кто длиннее –
мы все отмерим этот путь.
Тот, кто устал из нас сильнее,
решил немного отдохнуть.
И я сижу один средь ночи,
из крана капает вода.
Я уезжаю завтра в Сочи,
вы не поедете туда.

Мороз над Советским.
Застыли машины.
Молчит, цепенея, тайга.
Теплушкы покрытые

инеем синим,
прибежище наше.

Строга
и торжественна воздуха стылость,
и только в прорабке
штабной,
глаголы, глаголы,
и связки простые –
планерки прокуренной
зной.

Решают и спорят,
ругая погоду,
друзья молодые мои.

Стеклянный закат
заклинает природу,
и выгнутый месяц торчит.

И в этих горячечных,
яростных спорах
Решается все. А затем,
встают корпуса,
вырастают опоры,
рождается завтрашний
день.

Им, этим ребятам,
мороз не преграда,
иначе, зачем же сюда
за трудной судьбой –
не за наградой
везли их, стуча, поезда.

Чтоб здесь вырос город.
Стихами и прозой
не высказать, не отразить
горение наше.

И даже морозу
все это не остановить.



Татьяна Кондратьева родилась на Урале, с 10 лет живет, а теперь и работает в Советском районе. Окончила педагогический институт, работала в школе, детском саду. Дети, поэзия, природа всегда были центром ее интересов, ее жизни. Стихи Татьяны чисты и прозрачны, как воздух в ясный день над нашей тайгой. Она много печаталась в нашей газете, продолжает печататься и сейчас.

ЗДРАВСТВУЙ!

Синие тени на белом снегу –
Четко, контрастно.
Веточку пихты качну на бегу –
Здравствуй!

С елки высокой посыпается снег
Пылью алмазной.
Каждой иголке – сейчас и вовек –
Здравствуй!

Нежное кружево хрупких берез
Тонко – прекрасно.
Царство волшебное сказок и грез –
Здравствуй!

Заяц пугливый следы напетлял,
Чудик ушастый.
Отблеск вечерней зари заиграл -
Здравствуй!

Тени сгостились, синей и дымней,
Сумерки ясны.
Новый счастливый и радостный день,
Здравствуй!

Мы все когда-нибудь уйдем –
Останутся закаты,
Трава, прибитая дождем,
И облака из ваты.

Кружиться будет карусель
Осенних листопадов,
Звенеть апрельская капель,
Зима менять наряды,

И я опять сюда вернусь –
Травинкой иль сосною,
А может, в воду загляжусь
Ракитой над рекою,

А может, я увижу свет
Глазами незабудок...
Я не исчезну напрочь, нет–
Я все равно здесь буду!

Побежали с горки дни и годы,
Седины все больше в волосах.
Оставляют за собой невзгоды
Пепел на губах и грусть в глазах.

Но еще не все, видать, испыты,
Горечь поражений, боль потерь,
И не все враги еще забыты,
И друзья еще стучатся в дверь

И опять в весенней круговорти
Сине - бело - розовых цветов
Жизнь смеется над безликой смерть
Над глухим забвеньем вечных снов.

И того закона нет мудрее:
Пусть еще сильней спешат года –
Все вокруг становится старее,
Только жизнь все так же молода.

Тихо-тихо уплывает лето,
На болоте серебром роса.
У березы золотого цвета
Пышно заплетенная коса.

На пушистом великане - кедре
Дозревают шишки в вышине.
Ясно слышен легкий шепот ветра
В хрупкой предосенней тишине.

Синева небес чиста, хрустальна,
Даль лесов пронзительно ясна
И земля торжественно-печальна
В ожидань ледяного сна.

А в лесу бушевала осень
Многоцветьем листвьев и трав.
Водопадом небесным просинь
Отражалась в твоих глазах.
Белый мох под ногой пружинил,
Паутины блестела нить,
И грибов – крепышей дружины
Утверждались в желаньи жить.

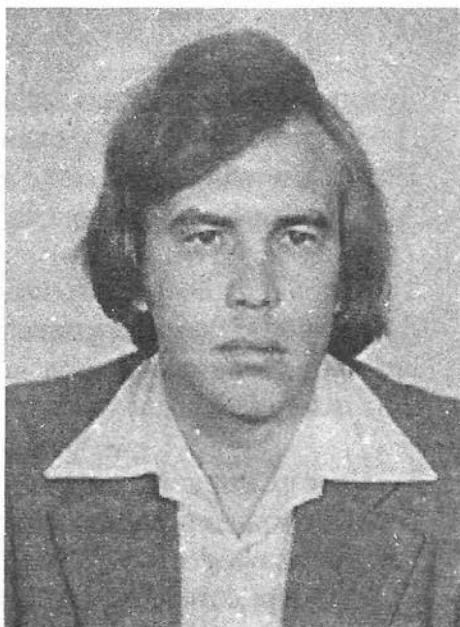
Нам о чем-то шептали ветки,
Затихало эхо вдали.
А вот ягоды были редки,
Как признанья твои в любви.

Дождь на окнах оставил следы.
Плачет небо над бедной планетой,
Не теплом и любовью согретой,
А кострами ненужной вражды.

Заколдованный замкнутый круг:
В мире холода, мрака и тлена,
Где шагают в грязи по колено,
Есть тепло твоих ласковых рук.

Там, где властвуют подлость и ложь,
Где царит надо всем лицемерье,
Где рождаются страх и неверье,
Справедливости где не найдешь –

Льется свет из дочуркиных глаз
И тепло из души нараспашку.
С вами в мире ни сколько не страшно,
Страшно миру такому – без вас.



Казанцев Анатолий Михайлович много лет живет и учительствует в поселке Пионерский, преподает русский язык и литературу. Был участником окружного и областного совещаний молодых литераторов, где его поэтическое творчество получило одобрительные отзывы.

Анатолий давний автор «Литературных страниц» в газете района, публиковался в альманахе «Эрингтур».

Азарт ловца да чистый лист тетради,
Да карандаш, да груз душевных мук.
За письменным столом сижу в засаде,
А мысли – птицы носятся вокруг.

На них со стула или с табурета,
Вести охоту – хитрость не нова.
В тетрадные силки квадратных клеток
Я как приманку высыпал слова.

И напряженно ожиданье длится,
Не дремлет мозг, волнуется душа.
Но вот крылом коснулась мысль – птица
Графита моего карандаша.

И на нее я с ловкостью кошачьей
Бросаю сеть, сплетенную из строк.
И оттого, что пойман миг удачи,
Испытываю сдержанный восторг.

Люблю охоту именно такую:
Здесь никого не надо убивать.
Поймаю мысль, рифмой окольцую
И на свободу выпущу опять.

Ветрами перемен в краю родном
Природа нас одаривает щедро.
Вот снова флюгер завилял хвостом,
Стал к новому принюхиваться ветру.

Стоит на крыше на одной ноге,
Глаз не смыкая, чутким носом водит,
Он знает дело на своем коньке
В любое время, при любой погоде.

До листочка выгорела осень –
Жизнь у всех подобная костру, –
Только кисть рябины на морозе
В ребрах веток бьется на ветру –
Сердце оголенное, живое,
Четко отработавшее век,
Ягодными капельками крови
Вытекает медленно на снег.

Нас приучают к мысли, что мы волки,
Что надо волчий выучить вокал.
Я зеркало разбил на мелкие осколки,
Чтобы не видеть хищный свой оскал.
Мой меньший брат, мой враг четвероногий,
На время поселившийся во мне,
Дремучий зверь, озлобленный, жестокий,
Тень человека видит на стене.

Вся жизнь моя похожа на тельняшку:
В таких же темно – белых полосах.
Когда на белом – сердце нараспашку,
И рад бываю каждую дворняжку

Приветствовать с улыбкой на губах.
Я не иду – плыву вальяжным стилем,
Как будто в увольнении матрос.
И нет преград в фарватере под килем,
И мысли обволакивают штилем,
И никакой не мучает вопрос.
Сменилась полоса – закрылись трюмы
Моей души, и начало штормить.
И в голову тревожно и угрюмо
Приходит проклинаемая дума
С вопросом вечным – быть или не быть?

Когда в природе осень наступает,
Когда вокруг от золота светло,
Я не могу смотреть как умирают,
Как умирают листья тяжело.

Еще висят, но высохшие вены
Не греет уж пульсирующий сок,
Они не ждут от мира перемены,
Они подводят жизненный итог.

Я видел их весеннее рожденье,
И потому никак я не пойму
Их мелкий трепет легкого паденья,
Который сам когда-нибудь приму.



Надежда Лещева с детства жила в нашем районе, окончила Таежную среднюю школу, затем педагогический институт в г. Глазове. Еще школьницей начала печататься в газете «Путь Октября» – лирические миниатюры, рассказы, стихи. В г. Глазове издала свою первую книжку, была принята в Союз писателей. Стихи надежды Лещевой по-женски задушевные, пронизанные светлым чувством любви. Все мы родом из детства. А для поэта первые впечатления, знакомства, ощущения – колодец с живой водой. Из детства у Нади такой незамутненный бытом и повседневностью взгляд. В ее стихах больше радости, чем горести, больше встречь, чем разлук.

Обнажились ветви белых ливней,
Хлещут по моим плечам в ночи.
Царь - Перун, греми еще призывней,
Яростнее молний мечи.
Тот, кто мне шептал: «Моя родная»,
Целовал в деревне у плетня,
Нынче мне сказал, что не жена я,
Рыжей ведьмой обозвал меня.
В оргию разгульную ночную,
Набродившись в ливневом лесу,
Я поймаю молнию ручную
И ему в подарок принесу.

ЗРЕЛОСТЬ

В час утра, прозрачный и ранний,
Еще между явью и сном,
Почудилось: гроздья герани
Горят на окошке резном.

И вскрикнула я: –Что за чудо?
Герань, ты откуда взялась?
– Я гостья твоя. Я оттуда,
Где заново ты родилась. –

Мне петь и смеяться хотелось.
Какая прекрасная весть!
Пусть сгинула молодость – зрелость
Успела геранью расцвести.

Я надела ожерелье из прищепок
И с охапкой влажного белья
Вышла в мир зеленых трав и веток
И от счастья захлебнулась я.

Белые неслись по небу кони.
Улыбалась ландышей семья.
Солнце протянуло мне ладони
И сказало: «Здравствуй, дочь моя!»

Я сплела волшебную веревку
Из надежды, веры и любви.
И белье развешивая ловко,
Я шепчу: «Корабль земной, плыви!»

Простыни раздулись парусами.
От зеленых волн в глазах рябит.
Я живу, как в детстве, чудесами
И не ведаю иных орбит.

Я объявляю мораторий
На лицемерие и тупость,
На хамство, мелочность и скучность
Внутри людских лабораторий.

Страшней, чем атомная бомба,
Оружие из мерзкой лести
И зараженное апломбом
Безудержное чувство мести.

И не напрасно, не напрасно
Сигнал тревоги воет в уши.
Я знаю: все взрывоопасно,
Что расщепляет наши души!

Я стою на перроне,
Продутая ветром тугим.
Мне легко и свободно
(Такое возможно лишь в детстве).
И зовут за собою
Составы один за другим –
Вот стихия моя!
Вот приют от напастей и бедствий!

А замерзну – пожалуйста:
Рядом огромный вокзал,
Где весенним разливом
Людские волнуются реки.
Я ему благодарна за то,
Что меня он связал
С пассажиром своим,
Будто с отчей землею навеки.

С одержимостью некой
Люблю этот узел связной.
Время рельсами стонет
Под тяжестью мощного пресса...
Я стою на перроне,
И ветер – знобящий, сквозной –
Обнимает меня
Встречной силой
Сквозного экспресса.



Александр Загоровский относится к своему стихотворчеству, как к хобби. Может поэтому он пишет так редко, никому не навязывает свои стихи, не заваливает ими редакции. А может его работа, связанная с финансовой дисциплиной, заставляет его и к поэзии относиться с подчеркнутой точностью и в тоже время, с некоторой самоиронией.

Александр печатался в районной газете, альманахе «Эрингтур».

ИЗ АПРЕЛЬСКОГО ЦИКЛА

1

Ты погляди – ведь это очень просто,
и подожди, я стану выше ростом,
не уходи, коснусь твоих волос я,
и не люби – ведь это очень просто.

Что нам апрель – лентяям и прохвостам,
нам поскорей добраться до погоста,
угаснуть вроде праздничного тоста,
апрель приходит – это очень просто.

А в нем, ты слышишь? – слабый отголосок –
дыханье смерти и любви набросок,
ты подожди, коснусь твоих волос я,
не уходи, ведь это очень просто.

2

Скоро будет тепло, несмотря на декабрь,
это что у тебя по щекам потекло,
завтра будет апрель, значит плакать не надо,
завтра будет весна, значит будет тепло.

Когда тронется снег, я успею, я буду,
никуда не спеша, выйду из темноты,
и в последний момент появлюсь ниоткуда,
ты вдруг спросишь – кто там? Я скажу – это ты.

А пока замело и закутаны лица,
непонятный узор отразило стекло,
но я знаю, что все так как надо случится,
скоро будет апрель, скоро будет тепло.

ОБО ВСЕМ

У кромки поля кончились надежды,
а я ни там ни здесь, а где-то между,
укрылось солнце за осенний лист,
играет соло пьяный пианист

идет игра, а счет – а счет не в счет,
и бьют стрелки всех, кто летает, в лет,
на месте тех, кто выстроился в строй
в бег – кто бежит, кто свой и кто не свой...

...и дыбом шерсть и водка в горле колом
рубли рисует прыткий реформист
а пьяница наяривает соло
и втоптан в грязь последний желтый лист

смешалось все, не смешанное прежде,
и я исчез в обломках пустоты.
У кромки поля кончились надежды,
Огонь замерз и высохли мечты.

ПОПУТЧИК

Он меня поучал,
что куда нажимать,
на дорогу ворчал
и велел не дремать.

Я молчал и рулил,
уходя от помех,
ну а он говорил
обо всем и про всех.

Он рассказывал мне
о холодных краях,
о высокой цене
и дешевых деньгах,

что воруют кругом,
что напился бы в хлам,
и что мы все живем
и не так и не там.

Он одну за одной
папирозы смолил,
часто спорил со мной...
Я молчал и рулил.

АССОЦИАЦИИ БЕЗ ЗАПЯТЫХ

Упали вниз тяжелые шаги
ушли года и смолкли все литавры
а там вдали погибли динозавры
и не слыхать весны из-за пурги
ушли года и город опустел
а мы стоим внимательно внимая
когда пройдет гроза в начале мая
и уведут всех пленных на расстрел
и уплывут по морю корабли
себе искать на радость непогоды
зачем страдать прошли уже те годы
благодаря стараниям Земли.

Когда исчезнет утренний туман
один период перекинув в вечность
проступит чья-то на траве конечность
ненужная как без штанов карман
разделит солнце на деревья лес

раскрасит буквы мокрой упаковки
и там проедет чай-то «мерседес»
ненужный вовсе взятый по дешевке
там за рекой под черным флагом стан
и кто-то строит – ставит там порядки
ненужные как высохшие грядки
которые раздавит чай-то танк
и где-то там где крутят все кино
поставит кто-то в этом месте крестик
быть иль не быть? А впрочем все равно
не нужно все там взятое все вместе.

Наша встреча – мое озаренье.
Молода, хороша и проста,
ты была, – словно ветка сирени
от заветного сердцу куста.
И зовущие губы, как чары,
увели меня в юные дни,
где бы, может быть, нас обвенчали
и вслед погасили огни...
Я, румяный, – похож на сладыш,
что тебе же к постели несу,
ты – сирень, но ты пахнешь, как ландыш
в зачарованном тихом лесу...
Тень густа и на бронзовых лапах
сосны замерли, слушая даль,
ты – вся в белом, и белый твой запах
расплескать мне по лесу – не жаль!
Как легко молодое движенье!..
Как стремительно молод полет!..
Я иду!.. Позабыли – не Женю,
и меня, – кто-то страстно зовет!..

Наваждение! Миражное диво!..
Жизнь не любит вчерашнего дня
и сегодня, строга и правдива,
эта жизнь – отрицает меня!..
Ну и бог с нами, – я не в обиде,
но, ведь, вот, озарилась душа –
и взлетел, и тебя вновь увидел:
сколько лет – а ты все хороша!..

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЛЮБВИ

Не желайте мне удачи,
а иначе – ведь иначе –
напугаете, и значит –
улетит моя пора,
убежит моя удача,
мимо весело проскачет,
даже срока не назначит,
не желайте мне добра.

Не желайте мне печали
и не стойте за плечами,
что-то мне печаль ночами
шепчет, лето хороня.

И не делайте открытый,
находясь в полузыбытии,
и живите, как хотите,
и не трогайте меня.

Я горю как листьев ворох,
каждый миг тепла мне дорог,
твой транзит в четыре сорок,
эта ночь для одного.

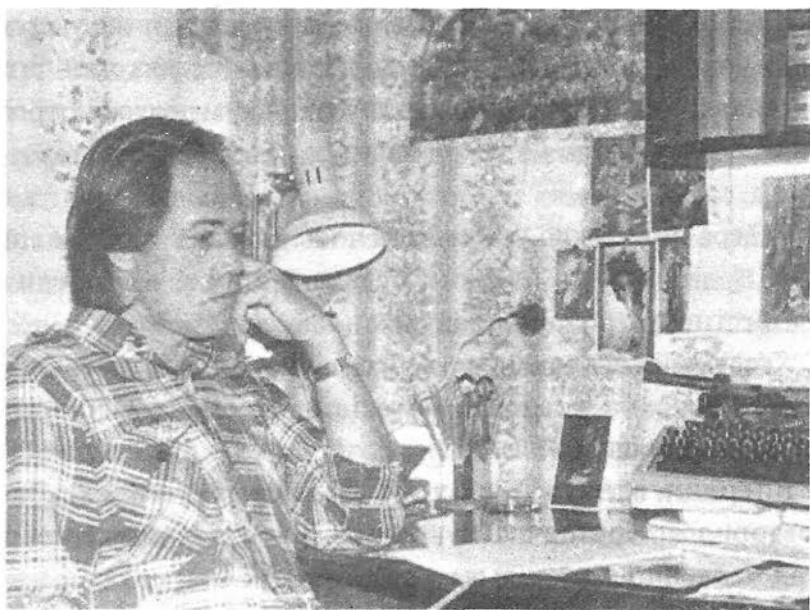
Так зачем же? – не иначьте,
не жалейте, чуть не плача,
ни печали, ни удачи,
не желайте ничего.

ДЕД

Завалинка, на ней старинный дед,
обернутый в поношенную куртку,
ему сто лет, он курит самокрутку,
ему семь бед – на все один ответ.
Он знает все, перечеркнул давно
совсем никчемный вековой свой опыт,
и пуст, и мудр – как тихий ветра шепот,
он с ветром скоро будет заодно.
Все на местах – к чему'лихая прыть,
за ночью день – и тихо сгинут сутки,
А смысл всего завернут в самокрутке,
и некуда, и незачем спешить.

НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР

Усталый отблеск нарисует вектор,
направленный в темнеющее небо,
заварит чай налоговый инспектор,
задумавшись о том, кто друг, кто недруг.
Ему никак не выпадает случай,
куда-то правит хитроватый некто,
зачем, скажи, тебе такой попутчик,
не торопись, налоговый инспектор.
Исчезло вдруг очередное лето,
кто знает, много ли или немного,
ты пей свой чай, налоговый инспектор,
зачем тебе вся правда о налогах.



Зуйков Борис Юрьевич родился в 1953 году в Твери. Окончил Высшие литературные курсы Союза писателей России. Работал егерем, охотником - промысловиком, десантником авиационной базы охраны лесов от пожаров. Автор романа «Белогорье». Сейчас писатель заканчивает новый роман «Дух Золотого камня», который духовно продолжит «Белогорье».

Член Союза писателей России с 1994 года.

Глава из книги «Белогорье»

Второй день шел Крутов. Думая о возвращении, нынешнюю ночь провел недалеко от деревни. Уже в сумерках наготовил дров, но огня разводить не стал. Набросав под кедр веток и сухого лапника, тут же улегся. Лишь когда разгоряченное тело обсохло, и стала холодить влажная от пота одежда, он чиркнул спичку и долго смотрел, как оживает огонь на свернувшихся лепестках березового корья.

Теперь пора было устраивать новый ночлег, а он все еще шел, думая, что за плечами осталась тропа, а впереди – неизвестность, которую завтра он назовет тропой.

Ягельный сосновый бор пересекали стежки муравьиных троп. Изредка встречались упавшие и уже сгнившие изгороди коралей.

Впереди взляял Буран. Игорь прислушался. Лай повторился. Крутов шагнул на зов и за стволами деревьев стал медленно подкрадываться на выстрел.

Собака, поднимаясь на задние лапы, обнюхивала ствол. «Улетел», – успел подумать он, как вдруг с соседней сосны шумно снялся глухарь. Не надеясь на удачу, Крутов выстрелил и увидел, как птица, не сумев отвернуть, ломая крылья, ударилась о ствол. Буран, показывая, что добыча его, теребил из глухаря пух.

– Кто велел?! – прикрикнул Игорь и шагнул наперерез собаке.

Кося глазом, Буран выпустил добычу. К носу прилипло перышко, и он сбил его лапой, сел.

– То-то, – смягчаясь, человек погладил собаку. Глухаря сунул шеей в развилину ветки. Снял котомку.

Намечавшийся спуск сулил близкую воду.

Помахивая котелком, Игорь пошел в распадок. Сосны скоро уступили место мелкому осиннику и ольховым кустам с застрявшими между ветвями опавшими листьями. Зеленый мох опрятно укрывал изъеденную талыми водами землю. Торчащий на дне распадка ивняк прятал свои уродливые корневища под клочьями высохшей травы, и казалось, кто-то бросил здесь изодранный невод.

Высоко поднимая ноги, чтобы не споткнуться о скрытую под тиной кочку, Игорь пробрался к камню. Осмотрелся. Пошел сухим руслом вниз и в просвете деревьев увидел поворот речки. Буран куда-то исчез. Лишь когда Игорь развел огонь, он, пугая, выскочил из-за кустов. Свесив влажный язык, тихо скулил, принюхиваясь, смотрел вглубь урмана. Пытаясь привлечь внимание хозяина, тянул котомку от костра. Лишь когда Игорь приказал ему лечь, ушел под выворот, но долго еще скулил, всматриваясь в ночь.

Занятый приготовлением ужина, Игорь не слышал, как в верховьях речки, по комариному звеня, работал мотор. Видимо, на перекате хватанув воздуха, тот пронзительно взвыл. Человек у костра разогнулся и прислушался.

Звук то приближался, то слышался где-то сзади и вскоре исчез.

«Речка петляет», – догадался Игорь. Присел на кедрач. Закурил. На повороте вновь взвизгнул мотор.

Игорь встал, сгреб угли, подбросил веток. Будто живые, они зашевелились и вспыхнули. Одновременно послышался встревоженный женский голос. Мотор заглох, и было слышно, как накатывается на берега потревоженная вода.

Буран хрюпlo залаял. В лодке заскрипели уключинами греби. Кобель бросился к воде и еще страшнее забухал в

ночь.

– Придержи собаку, – послышался мужской голос. Освещая прибрежные камни, из лодки ударил луч фонарика. На берег выпрыгнул мужчина. Сколько смог, вытянул лодку на сушу.

К костру ступил молодой парень, которого в темноте Игорь принял за мужчину.

Городского покроя пиджак с подвернутыми рукавами был подпоясан ремнем. На голове – спортивная шапочка. Голенища разогнутых болотных сапог подвязаны к поясному ремню.

– Тыв юва, – сказал парень, повернувшись к реке.

Женщина перелезла через борт на берег. Подошла к костру, кивнула головой.

– Мы думали горит, а тут вишь... – улыбнулся парень.

– Из Подгорного я, – в свою очередь сказал Игорь. – Шел вот, да, видимо, свернул малость. Вы садитесь, у меня похлебка поспела. Вместе поедим.

– На берегу-то что ж? За поворотом зимовье. Там бы и ночевал, – будто не слыша приглашения, сказал парень. – Это тетка моя, Анна, – он кивнул на женщину. – Я Иван.

Лежащий в стороне Буран настороженно смотрел на пришельцев. Услышав спокойные нотки в разговоре людей, встал, подошел к костру, поочередно обнюхал чужаков.

– В Подгорном кого знаешь? – Иван опустился на корточки, подкормив огонь, протянул руки.

– У Андрея жил, он раньше с Еремеем охотился.

– У Сушки?! – воскликнул Иван и встал. – Я-то смотрю, лицо твое знакомо, – он повернулся к тетке и что-то ей сказал, потом повернулся к Игорю.

– Собирай все, в избе ночуем, там и поужинаем.

Буран в лодку идти не захотел и, как Игорь его ни звал, сидел на берегу. В сердцах обругав собаку, Игорь взял котелок, направился к моторке. Кобель, будто этого ждал, радостно взбрыкнув, исчез в тайге.

Моторка, набирая скорость, вырвалась в плес. Пытаясь запомнить местность, Игорь вытянул шею, но в темноте невозможно было разобрать, где река, а где берег. Больно ударявшие в лицо редкие жучки заставили наклонить голову и думать о том, как бы не расплескать из котелка. Скоро мотор чихнул и заглох. Прошуршав обшивкой по песку, моторка пристала. На высоком берегу темным пятном угадывалась избушка. Поскуливая, возле нее сидел Буран, а Игорь вдруг понял, где он так долго пропадал и почему не хотел лежать у костра.

— Сообразительный у тебя кобелек; — одобрительно заметил Иван.

— Пес-то сообразительный, да хозяин балбес, — ответил Игорь.

— Шай пут кав рта, — сказал племянник подошедшей тетке и открыл дверь зимовья.

— Ну здравствуй, избушка, — поздоровался Иван и переступил порог. — Ночевать-то пустишь?

Не зная, что делать с котелком, Игорь повесил его на крюк таганка.

— Может помочь? — спросил он женщину.

— Руки, ноги целы, — с заметным акцентом проговорила она и махнула ладошкой, — Ходи...

Когда Игорь вступил в зимовье, Иван уже засветил фонарь, но свет ему чем-то не глянулся. Он потянулся к лампе на подоконнике.

Крутов осмотрелся.

Просторная, порядком закопченная изба, с оленьей нартой у противоположной от двери стены, была заставлена мешками и берестяными коробами. Слева – широкий настил, из-под которого торчали лыжи – голицы, виднелись куски чаги и топорище. От нарты до стены – топчан, застланный одеялом в плецинах ваты. Впритык к окну – длинный стол, уставленный банками разной величины. На одной из банок – алюминиевая миска с сухарями. Матица увешана разноцветными мешочками. Вправом от двери углу еще один топчан, застланный оленьей шкурой. На стене коврик. Слева от двери – железная печка. Заставленный посудой столик на коротких ножках. Лавка.

– Проходи, что остановился? – пригласил Иван.

Вслед за Игорем в зимовье вошла тетка Анна, поставила на печь котелок.

Иван, перегнувшись, полез к нарте, достал из короба буханку хлеба. Женщина тронула на столе миску, отошла к своему топчану. Из-под шкуры достала бутылку водки. Иван протер полой пиджака кружки, достал приемник, прицепил его на вбитый в стену гвоздь. Выложив глухариное мясо в деревянное корытце, женщина наполнила миски бульоном. Откупорила бутылку, размерила рюмкой по кружкам. Остаток убрала под стол. Принялись за еду. Ели молча.

Стараясь не капать на стол, ложку придерживали хлебом. Дохлебав бульон, Игорь потянулся за мясом, но женщина достала из-под стола остаток. Налила себе полстопки, бутылку протянула племяннику. Иван, не целясь, плеснул в обе кружки.

– Идешь-то куда? – спросил он.

Крутов поднял кружку, посмотрел на содержимое.

– Зимовье у нас на озерах, нынче с Андреем ставили.

– Ондатра есть?

Игорь кивнул головой.

– Тропу утром покажу, по ней пойдешь. В одном месте болото перейдешь. Тетка раньше здесь каслала. Безоленные мы теперь, но тропы наших оленей живы... Корми собаку да ложись, – Иван одним глотком выпил водку и, скривившись, полез к стене.

Проголодавшийся Буран громко чавкал. Пока собака ела, Игорь выкурил папиросу.

Налетевший порыв ветра расшевелил непогашенный костер, взвил табунок искр, унося их в темный зев речки.

У воды искры гасли, казалось, это река хватает их безгубым ртом водоворотов, а где-то рядышком тешится в дикой пляске водяной: прыгает с прибрежных камней, дергает бороды склонявшихся к воде кустов.

Ханты, прощаясь, помахали Игорю. Лодка, подхваченная течением, отошла на глубину и развернулась. Иван никак не мог завести мотор. Злясь, пнул его сапогом, сплюнул.

– Свечи проверь! – крикнул Игорь.

Тетка Анна села на греби, удерживая лодку на стремнине, и скоро они скрылись за поворотом.

– Ну, Буран, и нам пора, – произнес Игорь, услышав, как взревел мотор.

Успокоенный, стал на тропу, по которой велел идти Иван. Отойдя от зимовья, обернулся, жалея, что нужно уходить с обжитого людьми клочка земли.

Нехоженая тропа поднималась на холм. Толстая лиственница, затесанная кем-то много лет назад, взирала на человека, будто хотела что-то сказать. Обойдя ее вокруг, Игорь пошел по тропе, не переставая удивляться чистоте ягеля, множеству грибов и ягод, которые мял бегающий

Буран. Иногда ложился, начинал кататься, пачкая брусничным соком шерсть. Игорь беззлобно его ругал, вставал на колени, ощипывал ягоды губами.

Испугав, над головой загалдела кедровка. В сердцах Игорь едва не разрядил в нее ружье.

Тропа подвела к обрыву над рекой. Открылся вид на бескрайние хвойники, пестрели вдоль речки березняки.

Игорь, смежив веки, стоял на кромке обрыва. Прикрытие глаза пропускали розовые лучи солнца, наполняя чувством радости и обновления.

Тропа развернулась на север. Чистый ельник перемежался кедрачом, все чаще попадались заросшие багульником редины. Плотной стеной поднимался березняк. Игорь повернулся от березняка и наткнулся на тропу. Она виляла, огибала круглые ямы непонятного происхождения, пока не вывела к покосившимся домишкам с проваленными крышами. Остатки жилья заросли мхом и малинником, устоявшийся запах сырости шибал плесенью и трухой.

Оставив неприятное место, человек и собака скоро вышли в чистый, будто кем-то прибранный бор. Изобилие грибов и ягод уже не радовало. Перед глазами вставала тетка Анна в резиновых сапогах и залатанной кацевайке поверх старого национального платья.

Над головой пролетел ворон.

– Кр-р-р-а, – услышал Игорь крик.

Игорь выстрелил, сплюнул.

– Каркаешь, курва, – зло проговорил он и подошел к убитой птице, отпихивая ее болотником с глаз. Примчавшийся на выстрел Буран подхватил ворона, трепанул.

– Не пачкайся, – отбросил Игорь мертвую птицу под

комель сосны. Взглянул на часы.

Поднявшись на очередной холм, вдруг почувствовал, что уже был здесь. Ошалело крутанувшись на месте, узнал лиственницу с затеской. Прошелся назад, увидел смятые собакой стебли брусничника. Все еще не веря в то, что вернулся туда, откуда вышел утром, стал изучать тропу и разглядел отпечатки собственных сапог.

Буран по-собачьи улыбался, довольный тем, что скоро кончится непонятная дорога.

Игорь сел. Припоминая путь, закурил. Уже в сумерках, уставший и растерянный, он вернулся к зимовью.

Добротное, рубленное на века зимовье смотрело единственным окном на восток, и только старый, почерневший от времени лабаз выдавал зимнее убежище охотников.

Засветив лампу, Игорь вытащил из котомки свой котелок. Усмехнулся, вспомнив напрасное путешествие.

Готовить ужин расхотелось.

«Чаю попью и лягу», – решил он. Задвинул котомку под лавку, вышел из зимовья.

Собравшийся было дождь пронесло стороной, и только остались черные во все небо полосы, будто кто-то вымазал его сажей, да так и не смыв.

Ковш Большой Медведицы наклонился, и казалось, это он рассыпает по небу крошево звезд.

Черпнув котелком из реки, Игорь поднялся в угор. Напившись чаю, прилег на нары.

Проснулся он от лая. Буран стоял под окном и бухал в сторону ельника, откуда скоро показались люди. В сумерках угасающего дня лиц Игорь разглядеть не мог, и только, когда они вышли на берег речки, узнал Ивана. Чуть отстав,

опираясь на посох шла Анна.

Две собаки, серая и белая, выскочившие из кустов, ревниво оттесняли Бурана от зимовья. Назревавшую драку упредил Иван, что-то сказав своим собакам.

– Не ушел, – недоумевая произнесла женщина, вытирая клочком травы и без того чистые резиновые бродни.

Игорь почувствовал, как краснеет, порадовался, что не видно его лица, но правды не скрыл:

– Ходил. Да только вечером сюда же тропа и вывела.

– Наши духи не отпустили тебя, – заметила Анна.

– Да какие духи! – отмахнулся племянник. – Ты как шел?

Деревню заброшенную встречал?

– На нее и вышел.

– Эх! – ударил себя по колену Иван. – Закружился ты...

Он встал, чиркнул спичку, засветил лампу.

В зимовье все вроде бы образовалось само собой. Из кружек, исходя паром, уже дышала наваристая уха.

Золотистые луковицы, вдвое больше солонки, еще не тронутые ножом, играли в отлеске лампы и казались новогодними игрушками. Откупоренную, успевшую запотеть бутылку, Иван будто и не замечал, но ел вяло и неохотно.

Когда наконец тетка наполнила стопку, Иван заерзал и подмигнул Игорю.

Тетка пригубила, поставила стопку.

– У нас однажды случай был. Молодая я тогда была. Один охотник, как с войны вернулся, совсем из урмана не выходил. На той стороне еще все охотились. Останавливались мы у него, когда на Сосьву людей, отгадывающих погоду, перевозили.

Историю эту он сам нам так рассказывал:

— Много дней уже в урмане охотился он. Будто в три года голодных, ни в какой реке рыбы нет, ни в какой земле мяса не добыть. Только в одном месте следы выдры встретились.

Петлю насторожил. У зимовья соболиную дорогу увидел, капкан положил. Пришел в дом, спирт у него был, на стол поставил, а пить не стал. Задумался. А сидел, как вы сидите, — она показала на них рукой, — лицом

к двери. Вдруг показалось, что кто-то в окошко заглянул. Привиделось, думал. Тут дверь сама открылась, женщина зашла. Сах на ней, будто из снежинок сшит, так блестит. Очень он испугался, за ножом к поясу потянулся, да вместо рукоятки пряжку дернул. Упал к ногам пояс.

Женщина к столу подошла: «Что ж не поруешь, петлю, капкан не проверяешь?» — сказала так и к порогу пошла.

Долго в себя прийти не мог, а как очнулся — пробку с бутылки сорвал, Почет, значит, духам здешним оказал.

Утром капкан проверил — соболь в нем. В петле тоже не пусто. Чтил с тех пор закон предков наших, хошь и русский.

Анна закончила рассказывать, встала, отошла к печке.

— Ты сам-то у Еремея бывал?

Игорь удивленно посмотрел на женщину.

— А вы его знаете?

— Как не знать. Хороших людей все знают, хоть и молва о них не зайцем скакет.

Игорь осмелел и стал рассказывать, как шел тропой.

— Сопсем ты, однако, турной, — она подняла голову, — зачем зря ворона стрелил? Жил он, юрты наши охранял, тебе дорогу сказать хотел. Жизни не понимаешь. Кто теперь старое жилище охранять станет? Кто о чужом человеке расскажет? Э-э, глупее ты ворона. Ночевать пришел, с избушкой не здоровался. Духам кушать не дал — все

железнай миской закрыл. Не знала бы Еремея, думала бы –
плохой ты русский. Не дала бы здесь спать.

Игорь сидел хмурый. Даже при свете лампы Иван увидел,
как тот вспотел.

– Ну что ты накинулась?! Не знал он. Объяснить надо, –
заступился он за Игоря.

– Зачем в тайгу пришел? Зачем, как росомаха, по чужим
тропам следы путать? Дома сидеть надо! – зло говорила
Анна, и показалась в сумерках неосвещенного угла Игорю
древней старухой. – Болезнь твою лечить надо. Кровь
турную гнать. Баню жарко топить, зубами щуки бить. Пэр
ас ты делать.* Кровь пускать, «просии» говорить.
Мужчиной станешь, охотником – тайгу понимать будешь.

Игорь готов был провалиться сквозь землю. Он медленно
поднялся:

– Прости, тетя Ань. Не знал я.
– Правду говоришь, не знал? У ворона «прости»
спрашивай, – подсела к столу.

– Шай янча питлан? – спросила она.
Игорь потянулся за кружкой.
Иван заулыбался.
– Еще неделю поживешь с нами, совсем все понимать
будешь...

Крутов смущенно молчал.
Тетка Анна, прихлебывая из блюдца, пила чай.
А Игорю сделалось вдруг больно, будто его отхлестали...

* Лечить (ханты) избавлять от злых духов.



Татьяна Рыжикова родилась в г. Советском в 1980 году. Окончила Советскую среднюю школу №3. Сейчас учится на первом курсе Ишимского педагогического института.

Одиночество в бездонной тишине
Мелкими глотками я глотаю.
Этот горький вкус живет во мне,
Он во мне рождается и тает.

В платье из прозрачной тишины
Я танцую вальс полу забытый.
Мрак разбавлен отблеском луны.
Музыка молчит. Окно открыто.

Проклятая, белая – белая ночь,
Зеленым узором береза в окне
Прошу тебя, имя мое не порочь
И так оно слишком не нравилось мне.

Ты месяца серп повесь на окно,
Дождями умой золотую печаль.
Мир так изменился!.. А мне все равно
И мне ничего, что пропало, не жаль.

На крышу ложится небесная синь.
Пусть снова мне радость приснится.
Я знаю, хотел ты о чем-то спросить,
Но я опустила ресницы.

Невыносимо, нет, невыносимо
Предчувствовать конец пути.
Меня разлука по миру носила.
Я думала, – спасенье впереди.

«Предчувствие конца – лишь страх начала»,
За горизонтом оборвется жизнь.
Затем ли за тобой я вслед бежала,
Чтоб крикнуть полуслепотом: «Вернись!»

Мне до тебя осталось четверть века
И четверть часа до конца пути.
Твое лицо припорошило снегом,
Я не смогла узнать тебя, прости.

Открой глаза, смахни с ресниц снежинки,
А если вспомнишь, то подай мне знак.
Уже не выроню я больше ни слезинки,
Моя душа полощется, как флаг.

Дождливую серость крыш припорошило снегом
У столбов придорожных побелела трава.
Непогода кругом: холод, сырость и свежесть.
Мне дышать тяжело и болит голова.
Видишь, снегом холодным слезы с неба упали?
Стала сладкой рябина, листву обронив.
Только я как во сне... Помнишь, как танцевали?

А теперь я стою – предо мною обрыв...
Не хочу принимать черной бездны объятья.
Обернусь и увижу молочный туман...
Бродит утро в сиренево – розовом платье...
Серый дом смотрит в небо, как в черный экран.
Лишь немного пройду, обернусь и аукаю,
Только эхо зависло в туманной тиши.
Мы с тобою обвенчаны скорой разлукою.
Где же ты? Оглянись. Отзовись. Напиши.

ПОДРУГЕ

Я тебе обещала: «Вернусь,
Чтоб достроить песочный наш замок»,
О котором поутру боюсь
Вспоминать, как о прожитом старом.

Все же помню, как падал снег
И сосульки звенели на крышах
Пусть была я не хуже всех,
Но, увы, оказалась лишней.

Помнишь, слово «прощай» прозвучало,
Вот, как будто еще сегодня?..
Ты не пишешь, хотя обещала.
Все забыла, как сон прошлогодний.

Горько – сладкий запах – рассвет голубой,
Полусонноть сиреневых веток.
Я – в траву, я – в росу с головой
В бледно – синюю дымку рассвета.

Сон коварный в тумане рассею,
В мутном запахе трав растворюсь.
Я живу, я мечтаю, я верю, –
Я теперь умереть не боюсь!

Прохлада чистого дождя
Лесам сосновым нежит души.
Иди без слов и просто слушай...
Как жаль, что вечно так нельзя.
Березка тянет ветви вверх, –
Ей не догнать сосны столетней,
Здесь даже Бог, роняя снег,
Ее случайно не заметил.
Ты обними руками небо
И просто, молча помолись...
Твою печаль сожжет бесследно
Сосновый лес длиною в жизнь.

МОЙ ГОРОД

Я с этим городом повенчана навеки,
Не в церкви у святого алтаря,
А болью, что смыкает злобно веки,
Любовь в душе от мира затворя.
Я связана с ним памятью о детстве,
Березками в подлунном перелеске,
Тяжелыми часами горьких бедствий,
Глазами Господа на потемневшей фреске.
Мой город перенес со мной все беды.
Я с ним повенчана лишь тем, что я жила,
Седым туманом над могилой деда,

Который я, оставив, – предала.
Я связана невидимою нитью,
Любовью, страхом, буднями тоски
С тем городом, где суждено любить мне
И песни петь... До гробовой доски...



Игумнов Александр Петрович родился в 1956 году в г. Кизел Пермской области. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище. Служил в частях Забайкальского и Прикарпатского военных округов. В 1983-84 г.г. участвовал в боевых действиях в Афганистане. Имеет ряд правительственные наград. В 1986 году уволился в запас.

Рассказы А. Игумнова печатались в центральных и местных изданиях, в альманахах «Подвиг» и «Эринтур».

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ЖИВЫХ

Кишлак был уничтожен только к вечеру. Накануне группа захвата, высаженная из вертолетов в глухое ущелье, энергично вскарабкалась на горные вершины, выпирающие своими гранитными пиками в небесную высь. Отделение сержанта Владимира Жданова пополнилось новичками – желторотыми салагами спортсменами. На базе старики заставляли двухметровых «бугаев» до седьмого пота ползать по-пластунски, носиться, как угорелые, при полной выкладке по сорокаградусной жаре, держали на голодном пайке, без грамма воды и пищи. Тот, кто осмелился поднять спину от земли, получал громкого «леща» от самого сержанта. Резкий удар скрученной волосяной плеткой по заднице сопровождал дружный хохот старииков и насмешливый голос Кости: «Учись, салага, учись, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия». Уморенные от, казавшейся бестолковой, муштры, новички взбунтовались и потребовали воды. На что грузин Гога бодро ответил:

– Тебе не дам, себе не дам, никому не дам. В тебе воды много, ползай давай. Вода вредно сейчас, терпи солдат, после дам. Вперед, шайтан! – он грозно закатывал глаза и левым боковым врезал по плечику добродушного верзилу Сеню Савченко. От неожиданности и боли Семен изогнулся в три погибели. Грузин резко сделал подсечку, крутанул его бычью шею и рывком пустил грузное тело новичка в свободное плавание. Семен перевернулся через голову и рухнул лицом в горячий песок. Не успел фыркнуть, как резкий ожог ниже колен заставил его прижаться к земле. Послышался злорадный голос сержанта.

– Семен не хочет учиться, он хочет жениться. Смотри-ка Гогладзе, как прижался! Труба дело. Землю – матушку насилиует. Ах ты сексуал эдакий. Вот я тебя, вот я тебя!

Плетка больно жиганула пышущее здоровьем тело

Семена. Жалко всхлипывая и постанывая, он задвигал руками и ногами. Рядом, усердно сопя, обгоняя его, ползли еще три десантника его призыва. И казалось, что не будет конца этой песчаной дороге, что треснут от жажды высохшие, обкусанные губы, взорвутся от нехватки воздуха измученные легкие, выскочит из груди усталое сердце, сгорит в огне обожженная плеткой задница, наступит конец света и все кончится. Но мучения продолжались. И как ни странно, они были живы и ничего не случилось.

После ползанья приступом брали препятствия. Сотни раз лазали по лестнице и канату. Вверх вниз. Вниз вверх. Падали, поднимались, косились на плетку в руках сержанта и уже безоговорочно выполняли приказы. Потом были приемы рукопашного боя. Лихо дубасили друг друга по мордам. Доходило до драки, но Гогладзе вовремя растаскивал новичков, приговаривая:

— Драться нельзя, биться можно. По коленке его. Больно да? Терпи давай, дай сдачи. Куда бьешь? По шее его, по шее. Вот так. Вот так. Только не драться. Меж своих нельзя. Поняли, дурья башка?

Затем кидали ножи в чучело. Сотни, тысячи раз — снимали часовых. И опять делали друг другу больно. Но уже не злились. Тупели от боли и становились равнодушными даже к собственным страданиям. В голове — шаром покати. Всего несколько слов команд, механических мыслей и вечное желание пить. Затем трехкилометровый марш — бросок вокруг палаточного городка к стрельбищу. До сумерек стреляли стоя, сидя, лежа, на бегу, в падении, через плечо, на шорох и звук. Кидали гранаты прицельно, как баскетбольные мячи в корзину. И еще черт знает чем занимались. И так спозаранку и до заката. К концу дня получали долгожданную воду.

Сержант Костя Жданов, тоже уставший, как всегда был расположен к шутке:

— Что, братва, трудно? Это вам не солнечные Гагры. Пить

много нельзя. Привыкайте глотками, а не стаканами. Семен, тебе бы воду, как брагу, в ковшике подавай. Что морду воротишь? Я тебя плеткой только по заднице. Вон она какая у тебя толстая, всех демаскирует. Больно, да? До свадьбы заживет. Не выставляй ее напоказ, а то потеряешь. Я и говорю: духи прострелят или голову, или ее. Ладно, кончай злиться. Мне еще не так попадало, было время. Зато видите – жив... В горах или победишь, или подохнешь, или обузой будешь. Вот и выбирай.

Новички гордо и демонстративно молчали, миролюбиво поглядывая на сержанта и главного их обидчика – грузина Гогу. И не было на сердце зла и обиды. Все вышло с потом.

Так продолжалось с неделями. Так было всегда перед боевыми. Так было надо. Так диктовала жизнь. А может и смерть. Здесь, на базе, делились на молодых и стариков. Там, в горах, все были равны. Как перед Богом. В одних условиях. Разница была лишь в том, что выживал сильнейший. И духом и телом. Разумом и сноровкой. Дисциплиной и инициативой. Жаждой жить и вернуться на Родину. Из стариков и из молодых. Из солдат и офицеров.

Они были одними из первых русских, ступивших на эту землю. А из русских первыми оседлавшие вершины Гиндукуша над злосчастным кишлаком. Всю ночь молча и упорно долбили горную гряду, делали лазы и норы, выставляли пулеметы, ставили мины-ловушки, перекрывая возможный прорыв «духов» по рукаву долины. К утру замерли в ожидании. До обеда выдвигалась на позиции броня. Неторопливо, грозно и неотвратимо приближалась беда к селению.

С запада и востока, по краю клочков обработанной земли, на песчаных барханах и скалистых возвышенностях расположились расчеты ракетных установок. Мощные танковые пушки и стволы легких бронемашин, подошедших вплотную, взяли под прицел весь хаотично разбросанный жилой массив. Отступление на север преграждала бурная в

это время года река, переправиться через которую не рискнул бы и сумасшедший. В воздухе барражировала дежурная пара вертушек, готовая немедленно нанести удар по противнику. А где-то на аэродромах уже выруливали на взлетную полосу бомбардировщики и ждали приказа.

Практически сам кишлак и прилегающая к нему зеленка были блокированы полностью. Молоденький лейтенант из отдела пропаганды и агитации, курносый, с ямочкой на подбородке, в пригнанной, ладно сидящей камуфляжной форме, с планшетом на боку и биноклем на груди, явно впервые участвующий в боевой операции, подбежал к командиру батальона спецназа майору Маликову и весело отрапортовал:

— К заданию готов. Разрешите выполнять.

— Давайте, — недовольно буркнул майор, совершенно не разделяя радости лейтенанта.

Да и вообще хорошего было мало. Только что радиост получил приказ. Было сказано никого не оставлять в живых. Это значит — работать на уничтожение. Вся и всех. Майору не привыкать. Он старый служака, хорошо знает свое дело. В его послужном архиве есть в чем покопаться. И сейчас, если бы был на очереди покинутый людьми мелкий кишлачок, Маликов бы не раздумывал. Авиация, артиллерия, а затем его ребята. Чуть кто дернется — снова авиация и артиллерия. Впереди броня. И снова ребята. Пацанов он своих берег. В дело пускал в крайнем случае. Хорошо усвоил аксиому, что жалеть боезапас нельзя. Его в Союзе навалом. Гниет на военных складах. На сотню таких войн хватит. Почему-то ему на ум часто приходило поле. Обыкновенное крестьянское, хлебное. Видел, как по нему идут трактора. Пашут, а затем боронят и сеют зерно. Так и он, прежде чем пустить ребят в атаку, старался поглубже пропахать землю снарядами, сбрасывать ракетами и утыкать осколками. На его поле не рос хлеб, даже сорная трава не росла. Зато наступать можно было смело.

Такого большого жилого массива ему обрабатывать еще не приходилось. Намечался обильный урожай мертвцевов. Думать об этом, решать, а тем более отдавать приказ ему не хотелось. До последнего тянул резину. Вот и этого юнца из отдела пропаганды вызвал, пусть попробует. Может, что и получится. Он вновь встретился глазами с азартным взглядом симпатичного политработника. Вспомнил самого себя из далекого прошлого, декабря семьдесят девятого. Все повторяется. Разное время, другие сюжеты. Только тема одна. Война, убийство и смерть. Три неразлучных спутника в истории человечества. Чтобы смягчить обстановку, Маликов коротко добавил:

— Ты, Иван, осторожней агитируй, держи дистанцию.

Лицо лейтенанта расплылось в улыбке. В какой-то удальской, в какой-то хищной, в какой-то беспечной и в то же время нетерпеливой. Молодцевато козырнув рукой, он вспрыгнул на капот и скрылся внутри «бээмпэшки». Механик рванул газ и, обдав комбата облаком пыли, боевая машина пехоты помчалась в сторону кишлака.

— Ерунда все это, —неожиданно зевнув подумал Маликов, внимательно наблюдая в бинокль за движением машины.

— Все равно «духи» мирных из селения не выпустят, будут держать в качестве заложников, живым прикрытием. Откуда им знать, что поступил приказ уничтожить кишлак. В науку другим. Живые свидетели в таких случаях не нужны. Хоть бы сдались, черти! Профильтровали через одного. Глядишь, женщины и дети в живых остались. Сожгли бы пустой кишлак, как сожгли сотни ему подобных, и дело в шляпе. Так нет же, как истуканы во имя своего Аллаха дружно умрут все. И лейтенант, вероятно, бесполезно дергается. Одной стороной приговор уже подписан. Главарь, старейшина, мулла решил их судьбы. Теперь дело за другой.

Майор не спешил, он отчетливо сознавал, что именно ему предстоит дать команду, сделать последний штрих к началу бойни. Одобренной старейшинами из Москвы и

благословленной патриархами Политбюро.

– Не надо было нам сюда соваться со своим уставом. Попали в дермо, как американцы во Вьетнаме, и чем это кончится? – тоскливо оборвал поток своих мыслей Маликов, прислушиваясь к звонкому голосу лейтенанта. Тот нудно и долго о чем-то на «фарси» убеждал через мегафон афганцев. «Бээмпэшки» кружили вблизи зеленки, останавливались и вновь раздавался настойчивый призыв лейтенанта. Майор поморщился, увидев, что агитаторы нарушили границу ориентира – одиночный пышный эвкалипт, дальше которого он запретил лейтенанту приближаться к кишлаку. Он оторвал взгляд от бинокля и сказал своему заместителю, капитану Баеву:

– Салага, мать твою, грохнут же. Куда лезет.

Вновь прильнул к окулярам, взглядываясь в пустынный кишлак. Приятно удивился, когда заметил одиночные фигурки людей, потянувшихся к бэтээру. «Смотри-ка, сработало!» – успел подумать он, как короткие пулеметные очереди откуда-то из центра селения прижали сдающихся к земле. Гулко бухнули далекие выстрелы, окружив «бээмпэшку» султанами разрывов. На бешеной скорости бронемашина попыталась выскочить из-под огня и вдруг подпрыгнула, как игрушечный мячик, резко остановилась, задрав носовую часть в небо. Затем накренилась, плавно перевернулась и юзом, на тормозах скатилась в ложбину. Тут же из ложбины рванул яркий столб огня, а затем черное облако мрачной копоти.

– 31-й! Вперед! – несколько раз рявкнул в микрофон покрытый по уши пылью заместитель Маликова. Не удержался, выскочил на плато и замахал в сторону танковой роты руками. Тут же раздался далекий одиночный винтовочный выстрел. Баев замер на миг с вытянутыми вверх руками, а затем грузно опустился на землю, схватившись ладонями за грудь. Его подтянули за плечи и волоком втащили тело в укрытие. На груди выступила

кровь. Тело капитана дернулось в предсмертных судорогах. Он сумел открыть глаза и с какой-то грустью и надеждой долго смотрел на комбата. Он так и умер с открытыми глазами, не проронив ни слова. Лицо комбата ничего не выражало. Щеки его побелели, дрожь пробежала по скулам, спрятавшись в плотно сжатых губах. Зрачки глаз расширились и наполнились жестоким огнем. Он тяжело, с натягом вздохнул, и вновь уставился в бинокль.

К БТРу мчались три танка, облепленных, как гроздь винограда, десантурой. С высотки, где находилось отделение сержанта Жданова, прозвучали выстрелы. Радист схватил наушники и несколько раз повторил:

— Без команды не стрелять. Слышите? Без команды не стрелять.

Ждали команды урчавшие в небе вертушки. Молотили двигателями в Баграме загруженные бомбами самолеты. Застыли на кнопке «Стрельбы» пальцы операторов ракетных установок. Примкнули к окулярам прицелов глаза наводчиков танков и БТРов. Изготовилась к стрельбе артиллерия. Сняли с предохранителей и передернули затворы автоматов десантники. Застыла в ожидании чего-то ужасного и природа. Слабый ветерок, обдав жаром лица, умчался вдаль и спрятался за вершину гор. И солнце, усталое желтое лико, спешило на запад, подальше к закату. Всего несколько секунд отделяло еще цветущий радугами жизни кишлак от границы хаоса и смерти. Но зло вновь побеждает добро. И черный дьявол войны трубит победу.

Майор Маликов сверху вниз рубанул рукой. Радист молниеносно продублировал приказ о начале атаки, окончательно разорвав тонкую ниточку между жизнью и смертью. Рявкнули, застучали десятки стволов стальных помощников смерти. Ураган взрывов накрыл кишлак сплошным залповым смерчем, стерев с поверхности все живое. Вероятно, и тех людей, кто пытался сдаться. Особенно досталось зеленке. После залповой стрельбы

огонь танковых орудий, артиллерии и ракетных установок стал хаотичен. Расчеты сами выбирали цели и стреляли по готовности.

С пригорка, на который выдвинулся командный пункт батальона, хорошо было видно, как разрывы снарядов вдребезги разбивали глинобитные дувалы, а неуправляемые ракеты кучно ложились на кривые улочки, стремительно врывались в дверные проемы жилищ. Сотни ядовитых жал горячего свинца разлетались в разные стороны, круша на своем пути людей и животных. Еще носилась по улицам чудом оставшаяся в живых живность, изредка из развалин появлялись фигурки людей, но уже вторая волна смертоносного урагана готова была низвергнуться на землю. В небе с востока появились «сухарики». Эскадрилья самолетов пропахала кишлак пятьсоткилограммовыми бомбами и вторым заходом сорвавшись в пике нанесли точечный ракетный удар. И наконец-то юркие двадцатьчетверки, а следом восьмерки плонули огнем из всех стволов, закончив свинцовую смертельную пляску.

И тут же двинулся вперед разопревший от ожидания и безделья, разгоряченный от увиденного спецназ. Через полчаса десанттура захватила всю зеленку вблизи кишлака, выйдя на финишную прямую.

К комбату стремительно подкатили две бронемашины. Бережно опустили с капота и положили на брезент рядом с телом капитана Баева стонущего лейтенанта.

– Без сознания, – как сквозь сон услышал майор голос хмурого, с обвязанной белоснежным бинтом головой, полуголого десантника. – У меня куртка загорелась, когда лейтенанта вытаскивал. Сквозное ранение в голову и удар в затылок. Может быть выживет. Механик и стрелок мертвы, раздавило всмятку.

Маликов старался не смотреть на лежавшие рядом тела капитана Баева и лейтенанта Чуприкова, на всех ребят, убитых и раненых, приготовленных к загрузке в вертолет.

Боялся при подчиненных показать свои чувства. И еще что-то такое, что на гражданке называется жалостью, а здесь слонтийством. Отвел взгляд в сторону и буднично бросил:

— Лейтенанта и всех раненых в вертолет и быстро в госпиталь. Убитые подождут, им теперь спешить некуда.

Про себя подумал: «К вечеру еще больше будет, отправим оптом. Может быть, и сам в ящик сыграю, кто знает. Баев погиб, хоть бы ты, Ванюша, остался жив. Помоги, Господи, ему!» Майор Маликов больше никогда не встретится с лейтенантом Чуприковым. И никогда не узнает, что лейтенант, назло смертям, выживет. У него будет семья, дети. И вечная головная боль — последствия того ранения.

Комбат резко оборвал поток мыслей, вернувшись в повседневность сегодняшнего бытия.

— Пленные есть?

Радист пожал плечами и ответил:

— Начальник штаба собирает данные. По докладам ротных в зеленке только трупы. В кишлак не совались, ждут команды.

Майор Маликов и радист так и не узнают, что пленные были. Один мужчина и его жены, откликнувшись на призыв лейтенанта Чуприкова о сдаче. Оглохших и обессиленных, жалких и растерянных людей захватило отделение Кости Жданова. Позже десанттура распорядилась их судьбой — жестко и безжалостно. Убитых «духов» насчитали более полусотни. Несколько человек бросилось в реку. Многие слышали их крики о помощи.

Отделение Кости Жданова после нанесения авиационного бомбово — штурмового удара (БШУ), спустилось в долину на изгиб горной реки. По пути взяли в плен трех женщин и мужика. Сорвав с них паранджи были приятно удивлены милыми мордашками молоденьких жен трясущегося от страха крестьянина. Мысль пристрелить пленных и скинуть тела в реку сразу же вылетела из головы сержанта. Он плотоядно ухмыльнулся и приказал:

— Гога, спрячь их с глаз подальше. Мужика, пока не тронь, а то выть начнут. После ближе познакомимся...

— Понял, командир, все будет в ажуре, не впервой...

Жданов уже не слышал своего бравого помощника. Его острый слух уловил крики людей,тонувших в бурном потоке горной реки. Взгляд выхватил из пузырящейся горной реки чью-то голову. Хищно сверкнув глазами, он схватил «снайперку». Методично и хладнокровно расстрелял несколько человек, всаживая в каждое тело пулю для страховки. Довольно ухмыльнулся и объяснил стрелявшему короткими очередями Сене Савченко:

— Все равно потонут. Так я их вне очереди к Аллаху. Чем больше этой дряни убьешь, тем больше сам проживешь. Мы их, они — нас. Диалектика жизни.

Но потонули не все. Двоих молодых и сильных парней, вовремя нырнувших под воду и избежавших пуль сержанта, река вынесла на песчаную отмель в трех километрах от кишлака. Они с трудом отползли в укрытие и отлеживались до сумерек. Яростно и бессильно кусали губы, наблюдая как русский спецназ уничтожает кишлак. Ночью направились в сторону Пандшера к Ахмат -Шаху -Масуду.

Но и об этом майор Маликов никогда не узнает.

Комбат в сопровождении ротных командиров брел по зеленке, внимательно рассматривая хмурые, искаженные гримасой боли лица убитых. Что он хотел увидеть, найти, понять, осмыслить в этой дикой картине смерти? Таинственное, загадочное, завораживающее желание, отвратительное, нездоровое любопытство звали его посмотреть на жестокое деяние рук своих и соотечественников. Женщин и детей не было. Видимо, прятались в подземных норах или были погребены под развалинами глинобитных дувалов. Разве только вон тот мальчишка с автоматом в руках, с разорванным животом и застрявшим где-то в пояснице окровавленным осколком.

Его изуродованное, ощеренное в осколе лицо уже

покрылось бледной пленкой смерти. На песок через лохмотья черного стеганого халата вывалились зеленоватые кишкы. От них еще шел пар, легкая пепельная дымка. В открытых огромных глазах еще сохранились отблески человеческого бытия. Молодецкая удаль и отвага. Боль и печаль запечатлелись в его глазах и внимательно смотрели на комбата.

Вероятно, мальчуган принял мгновенную смерть, не познав предмогильного стариковского страха, не почувствовав границы между светом и мраком. И он в свои 12-13 лет вступив на тропу войны, познав ее животную сущность, ушел из жизни непобежденным. В своей жуткой смерти он приблизился к мученическим страданиям Христа. Он стал выше и чище тех, кто убил его. Он был принят Богом.

Майор медленно наклонился, провел ладонью по глазам убитого и приказал прикрыть тело обрывком брезента. Отвел взгляд в сторону и осталенел от неожиданности. Прямо перед глазами, в каких-то трех шагах, лежал труп девушки совсем не похожий на покорный и послушный облик восточной женщины. Она была прекрасна в свои последние секунды жизни. В джинсовых облегающих бедра брюках, с согнутыми коленками, она ласково обнимала рукой камень, прижавшись правой половиной лица к зеленоватой гранитной поверхности. Копна пышных светлых волос, плотно обтянутых по лбу зеленою лентой, мирно покоялась на покатых девичьих плечах. Концы золотистых завитушек прикрывали поясной ремешок, на котором болтался широкий армейский патронташ. Левый глаз остался прищуренным, как у молодой кокетки, подмигивающей понравившемуся парню. Толи европейка, толи американка, толи метиска. Любительница приключений или идейная мусульманка? Откуда забросила судьба эту амазонку-войтельницу в суровые афганские горы? И это для майора Маликова останется навсегда тайной.

Прикладом на камне примостилась современная снайперская винтовка, рядом валялось несколько стреляных гильз, забрызганных кровью. Кто-то рядом с комбатом вздохнул и негромко произнес:

– Жаль бабенку. Чертовски красива. Ей бы детей рожать...

Вздох жалости и сожаления слышался в мужском голосе. И даже отчаянье какой-то звериной тоски, глодавшей сердце солдата. Вся изголодавшаяся без женского общества десантура столпилась вокруг трупа, думая каждый о своем. Кто-то не мог оторвать взгляд от ее стройных ног, невольно раскинутых на всеобщее обозрение, ее пышных волнистых волос, полоски упругого молодого тела,зывающее выглядывающего из-под задравшейся, расстегнутой армейской рубашки. И не было в сердцах и душах грязи и мерзости. Всех на миг объединило одно - далекое и близкое прошлое, забытые лица подруг и невест. Идилию солидарного мужского обожания девичьей красоты нарушил сержант Костя Жданов. Он бесцеремонно растолкал толпу десантников, мельком взглянув на труп девушки и, заметив снайперскую винтовку, злорадно схватил ее. Его всегда бледное лицо побагровело, в глазах вспыхнул яростный огонек.

– Гадина! – заорал он. – Притаилась, курва, за камнем. Из снайперки ребят била. Замкомбата, стерва, срезала. Я ее в бинокль вычислил, ловко спряталась. Думал мужик, а это баба, сучара французская.

Он пнул носком массивного ботинка по ее изогнутым бедрам и, просунув ногу под живот, резко перевернул тело на спину. Ее голова скатилась с валуна и перед глазами десантуры открылась отвратительная картина смерти, реальный мир, в котором они существовали.

Правая щека и глаз девушки были вырваны напрочь. На камне остался темно-бордовый сгусток засохшей крови и кусочек прилипшего мяса. Был непонятен убийственный ход

пули, исковеркавшей правую сторону лба, глаз, щеку, подбородок и не задевшей левую сторону лица и тыльную часть затылка. Впрочем, тогда анализом траектории полета пули заниматься никому не пришло в голову. В тот миг что-то сломалось в очерствевших душах солдат. Заставило задуматься о многом. Даже сержанта Константина Жданова. Вдоволь нахлебавшийся пороховой гари, широкоплечий, высокий, красивый юноша с сумрачным взглядом и постаревшими глазами. Не единожды изведавший чувство страха, торжество побед, боль утрат, тоску по Родине солдат. Проползший на животе не одну сотню метров горных троп, участник десятка операций и множества засад опытный десантник. Принявший на душу грех убиенных людей, четко знавший свою грязную работу спецназовщик. Дважды раненый и контуженный, не ведавший жалости и сожаления современный робот неправедной войны, хрипло выдавил из себя:

– Красивая... Такую живьем взять. На всех хватило...

**СВЕТ, ИДУЩИЙ
ИЗ ПАМЯТИ**



Борис Карташов родился и вырос на Урале, там же окончил лесотехнический техникум, потом Свердловскую ВПШ. Несколько лет работал сотрудником редакции газеты «Путь Октября», последние годы руководит районной типографией.

Борис – великолепный рассказчик, а судьба его родных – неистощимый источник для его рассказов. Некоторые из них мы убедили его записать.

«И вот что получилось», – как говорит он сам.

«Мои родители были раскулачены и высланы на Северный Урал в годы коллективизации. Их вырвали из нажитых мест и перебросили умирать на необжитые места. Однако трудолюбивый крестьянин не пропал и там. Родители построили дом, развели скотину, разработали огород, нарожали и воспитали нас — своих детей. Прожили они очень трудную жизнь. О тех прошлых временах рассказывают неохотно. Я попытался разрозненные воспоминания отца, матери, старших братьев и сестер изложить на бумаге. И вот что получилось».

СВАДЬБА

Отец женился на матери в 1933 году. По всей стране был голод. Голодали и раскулаченные, к коим причислялись и мои родители. Мать, чтобы не умереть с голоду, продавала свои вещи, так что на момент официального предложения отца сочетаться браком имела ватные штаны и фуфайку. Отец сделал ей царский подарок. Он выпросил у сестры домотканую нижнюю рубаху, которая в умелых руках матери приобрела вид платья.

Свадебный обед был богатым: бутылка технического спирта, шесть сушеных вобл, полбуханки хлеба и брусничный чай. Ела, в основном, мама, а спиртом отец угостил знакомых мужиков из барака. Отец с мамой дожили до золотой свадьбы, вырастили восемь детей. Когда мама умерла, отец положил ей в гроб икону святого Пантелеимона.

БАБУШКА

В 1936 году на имя моей бабушки Барановой Екатерины Ивановны пришла посылка из Канады от двоюродной сестры, которая выехала туда в 1910 году. В посылке были детские вещи и продукты. Посылку получили. В доме было много радости. А ночью пришли вооруженные люди и бабушку увезли. Мама рассказывала, будто бы бабушка их ждала – спать легла одетая. Увезли ее в черных галошах на босу ногу. Улыбнулась, успокоила: «Я сейчас вернусь, дочка». Она не вернулась. И нет никаких документов, подтверждающих, что этот человек жил на земле. Остались только мы, ее дети и внуки, да еще фотография, на которой ей семнадцать лет. Бабушка была красивой, играла на гитаре.

ПРО КОМЕНДАНТА

Комендатура, за которой числились мои родители, командовал жестокий человек по фамилии Шальцман. Отец вспоминал: когда привезли раскулаченных с Украины, они приехали с вилами, граблями, косами. Это были хлеборобы. Но их послали заготавливать древесину. Делать этого украинцы не умели. А пайку – хлеб, постное масло, крупу – выдавали только тогда, когда выполнишь норму – пять кубов кругляка на человека. Конечно, они не могли выполнить норму. Начали пухнуть с голоду. Сидят человек у костра, двигаться не может, а комендант командует: «Марш на работу!». А человек до того ослаб, что даже глаза не открывает. Тогда комендант пнет его ногой – тот в костер... Много так померло украинцев.

ДОПРОС

Очень любил комендант красивых женщин. Понравится какая – добьется своего. А что не добиться, если за кусок хлеба могли отца родного убить. Знали об этом все на поселении. Однажды зашел о том разговор в присутствии мамы. Она плонула с горечью: «Вот кобель, на горе людском удовольствие имеет». Кто-то донес коменданту. И он стал вызывать маму на допрос каждую ночь. Она брала с собой старших трех сестер и шла в комендатуру. Так длилось целую неделю. На последнем допросе мама сказала: «Делайте со мной что хотите, а я больше не приду, у меня дети».

Неизвестно почему, но с тех пор мучитель перестал ее вызывать на допрос. А через несколько лет его расстреляли свои же.

«А ТЫ КИРОВА УБИЛА»

В 1935 году в поселок, где жили мои родители, пригнали много людей из Ленинграда. Одну женщину с девочкой поселили в комнату рядом с нашей. Встречаясь с мамой, она обязательно называла ее «кулачкой». Мама не вытерпела однажды, отпариowała: «А ты Кирова убила». Женщина опешила, испуганно обернулась и заплакала. Потом они помирились. В 1938 году ее забрали люди в военном. А девочка жила в нашей семье два года, пока не определили ее в детский дом.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Раскулаченных выселяли с лишением гражданских прав. Когда были торжественные собрания в леспромхозе по поводу красных дат Советской власти, председательствующий всегда говорил: «Лишеннных гражданских прав прошу покинуть зал». Мать вставала и уходила, следом шли мы, ее дети. Вслед шипели: «Кулачье проклятое». На собрания-то мы ее уговаривали пойти. Восстановили в правах в 1961 году. Мы стали полноправными гражданами, но мама перестала ходить на эти общественные торжества.

НА ВОКЗАЛЕ

В город, куда был командирован Иван Сапрыкин, поезд прибыл поздно ночью. В гостиницу – далеко, да и ни к чему (командировка всего на сутки).

– Перебьюсь в зале ожидания, – решил Иван, направляясь к свободному месту. Усевшись поуютнее, достал письмо, из-за которого он прибыл сюда, еще раз перечитал. Но сосредоточиться не мог. Огляделся по сторонам. Пустой зал, казалось, замер, и потому даже тихий разговор был слышен отчетливо. Неподалеку сидел пожилой человек с молодой женщиной и ребенком.

– Может, все-таки мне не ехать, Ирина? – настойчиво спрашивал мужчина. – Зачем лишняя обуза?

Женщина недовольно поморщилась.

– Опять ты за свое, ведь собрался уже...

– Поехали, дедушка, поехали, – уцепилась в рукав девочка, – ты же обещал.

Мужчина, тяжело вздохнув, замолчал. Чувствовалось, что в его душе идет внутренняя борьба.

Сапрыкин, толи от того, чтобы скоротать время, то ли от природного любопытства спросил:

— В гости приглашают?

Мужчина быстро взглянул на него, словно подслушали его тайные мысли.

— Да нет, жить к себе вот дочка зовет...

Он встал, подошел к Ивану, только сейчас Сапрыкин заметил, что мужчина прихрамывает.

— Ну, если зовет, то езжайте.

— Так ведь чужой я им.

— Ты опять за свое, отец... — перебила его женщина, которая, видимо, прислушивалась к их разговору.

Мужчина замолчал, задумавшись о чем-то своем.

— Давно здесь живете? — поинтересовался Иван.

— Да с войны...

— С войны?! — удивился Сапрыкин.

— Если у вас есть время, то я расскажу... Воевал я здесь, обороняли этот город, тогда это был железнодорожный узел. Здесь же попал в окружение: ранило в ногу. Заполз в какой-то подвал, перевязал рану и жду, когда последний бой принимать придется. Вдруг слышу чей-то тоненький голосок:

— Дяденька, ты русский? — Оглянулся, а в углу под кучей тряпок сидит девочка лет девяти - десяти. И как она попала сюда, ума не приложу.

— Русский, — говорю, — только раненый.

— А у меня бомбой маму убило и братишку. Одна я здесь живу, — как-то не по-детски говорит она.

Меня в дрожь бросило.

— И давно ты здесь?

— Три дня, но у меня сухари есть и картошка, только сырья.

Ну, думаю, попал ты, брат, в переплет. Был бы один, так и умереть не страшно, а тут ребенок. Однако прожили мы с неделю спокойно. Рана немного затянулась: ходить потихоньку начал. Пора и через линию фронта подаваться, а куда Ирину денешь (девочку так звали)? Ведь фашисты в

городе...

А еще через неделю выбили наши войска немцев. Пришел я в часть, доложил как положено, и в медсанбат. Ирину в детский дом отправили на Урал. Адрес ей свой оставил. Писала она мне, я, конечно, отвечал, иногда посыпочки отправлял.

Войну закончил в Польше, – опять ранили, теперь серьезно. Списали по чистой. Куда, думаю, податься. Один я (мать с отцом еще до войны умерли). Ну и махнул к Ирине на Урал. «Попроведаю, – рассуждаю, – гостинцев отвезу». Приехал в детдом, спрашиваю ее. Подходит ко мне девушка, худенькая, в валенках, глаза тоскливые, тоскливые, смотрит, словно ждет чего-то. У меня и сердце захолонуло.

– Поедешь со мной жить? – спрашиваю. А она тоже с вопросом:

– Ты меня не бросишь?

В общем приехали мы обратно в ее город (Ирина настояла, мол, мама с братом там). Устроился на работу, Ирина – в школу. Так и жили. Жениться не сумел, да и боялся, ревновала меня девочка ко всем. Не заметил, как выросла, институт окончила. А тут и суженый нашелся. Тоже инженер. Внучка появилась.

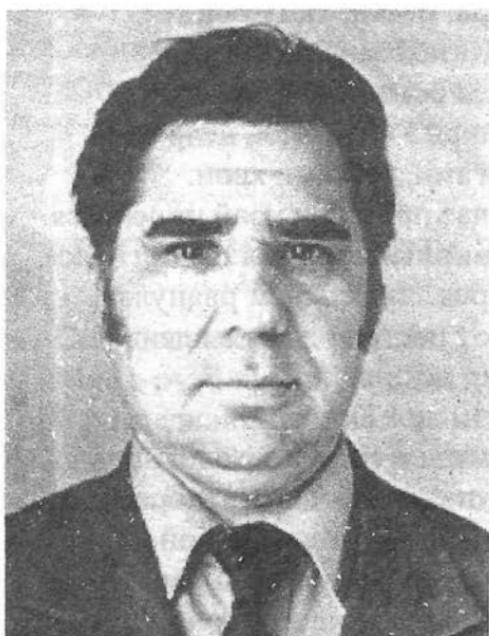
Мужа Ирины вскоре перевели работать в другой город, конечно, и она с дочкой – следом. А я не могу уехать, уж слишком многим связан с этим городом. Ирина все в письмах к себе звала, а я не решался. Ну вот они и приехали за мной. Только, чего греха таить, думаю, обуза им лишняя зачем? Вот и не знаю, что делать.

Мужчина поглядел на Ивана, словно спрашивая совета.

– Пора, отец, на поезд, – окликнула его женщина.

– Ну да как? – переспросил мужчина, но, не дождавшись ответа, махнул рукой и пошел к своим.

Сапрыкин хотел ответить, но видя, что на него уже не обращают внимания, подумал: «Странный старичок, даже звать не сказал как...»



Бакалов Николай Яковлевич родился в 1938 г. в Воронежской области. 30 лет живет в п.Малиновский. До выхода на пенсию работал в леспромхозе много лет, поэтому как журналист в своих статьях поднимает проблемы лесной отрасли, а как поэт – любуется красотой северной тайги.

Люблю таежную бескрайность,
 Над ней стремительный полет,
 Природы строгой первозданность.
 Озера, речки, тьму болот.
 От Казахстана до Ямала
 Земля безмолвная дремала,
 Прикрыв богатства недр свои
 Снегами, ветками хвои.
 Но час пробил и край проснулся,
 От мирных взрывов содрогнулся,
 Вперед за временем рванулся,
 И вот настал однажды день –
 Эфир вскричал:
 – Тюмень! Тюмень!
 Пошли по миру разговоры
 Об уникальном Самотлоре
 Планета чувствовала бой
 В словах Медвежий, Уренгой,
 В других названиях крылатых
 Тех мест, хранящих нефть и газ,
 Что стали вехами у нас
 Открытый залежей богатых.
 Теперь история известна,
 Она в словах и новых песнях
 О том, как смелые сердца
 Преобразили вид лица
 Земли Тюменской, ныне ставшей
 Оплотом Родины моей,
 В стальных артериях на ней
 Биение пульса жизни нашей.
 Сибирским сфинксом, чудом века
 И пробным камнем человека
 В легендах область названа,

Гордится ею вся страна.
Как не любить такую землю!
Я тот, кто выстрадал любовь,
Кто, если надо, вновь готов
Пойти в безлюдье за метелью.
Зовут суровые пределы,
Без них тоскую я по делу.
Жить благодушно, как во сне,
В широтах южных – не по мне.

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

Сегодня никого я не убил.
Мне в руки шла нетрудная добыча,
В последний миг стволы я отводил
И дробь летела в воздух мимо дичи.
Несказанно сегодня я богат,
Я наконец, убил в себе убийцу.
Переживи меня, меньшой мой брат
Лети в грядущий век, лесная птица.

ТАЕЖНЫЕ ЗОРИ

Приютившись среди елок,
У таежного ручья,
Дальний вахтовый поселок
Жил, моторами рыча.
Прилетел однажды летом
Я туда по службе в дождь.
Хорошо в поселке этом,
Повариха варит борщ.
Первый день средь лесорубов
Незаметно пролетел.

Дождь все шел, как из запруды
На людское море дел.
День второй – опять ненастье.
Дождь качал свои права...
На погоду нету власти,
Есть лишь крепкие слова.
Только что от браны толку,
Надо время убивать:
Книги, баня с верхней полкой,
Биллиардная, кровать,
Чай, брусничная водичка –
Нет, не празднует душа,
Пообщаться бы с медичкой,
Что опасно хороша.
Потому в медпункте тесно
От притворщиков иных,
Да признаться, если честно,
Был и я средь тех больных.
На четвертый день иль пятый
Ливень стих...
– Бригада, в бой!
Завертелися ребята
На делянке боровой.
Пилы выли и калились,
Надрывались трактора,
Парни в мыле все трудились,
Лес давали «на гора».
А к концу той трудной вахты
Лесорубов командир
Цифру плановую факта
Продублировал в эфир.
Но в ответ ему:
– Не гоже,
Леспромхоз не тянет план,
Ты с людем спроси построже...

– Был же дождь...
– Ты брось, Иван!
– Эх, начальник... Слыши, ребята,
Сто кубов еще от нас.,.
– Если надо – мы солдаты,
Ночи белые как раз.
– Завтра вылет...
Вновь пролились
Ночью тучи над тайгой,
Утром в небе появились
Кудри дырок с синевой.
Значит, летная погода,
Значит, будет вертолет.
Парни шли с ночной работы –
Перекрывающий план народ.

МОЛИТВА

Передо мной бумаги старый клок
С названием народным «похоронка»;
Впитавший материнский слезный ток,
Мне о войне тот лист напомнил громко.
Намного лет я пережил отца,
Погиб он под Москвою в сорок первом;
Не помнящий родителя лица,
Я жмусь к нему всю жизнь сыновым телом.
Суровой правды я не утаю:
Когда война гремела у порога,
Когда я только начал жизнь свою,
В четыре года я молился Богу.
Война на запад покатилась вспять,
Все дальше с дымом унося тревогу,
А я перед иконой – Божья мать –
Усердно трижды в день молился Богу.
И вот Победу празднует страна,

А мать моя все смотрит на дорогу,
С надеждой светлой мужа ждет она,
Я ж как и прежде бью поклоны Богу.
Однажды прибежал с реки домой,
Чтоб подкрепиться кукурузной кашей,
За дверью слышу жуткий женский вой
И зов невыразимый: – Яша! Яша!
Рыдала мать, по имени отца
Она звала и громко причитала...
Я понял все – жестокости творца
Такой моя душа не ожидала.
Я к деду за ответом поспешил.
Зачем он прививал мне веру в Бога?
Зачем отец мой голову сложил? –
Ведь я молился искренне и много.
В саду цветущем плакал дед – отец
Прижав к груди обманутого внука,
Пел соловей, но тщетно тот певец
Лил трель свою на человечью муку.
Когда затем зашел я в отчий дом,
Ребячым сердцем вмиг осиротевшим
По-новому воспринял все кругом,
Я стал взрослой и заново прозревшим,
Сияли как и прежде образа,
И взор святых таким же был лучистым,
Но я на них не поднимал глаза –
В семь лет от роду стал я атеистом.
Прошли годы и вот я средь могил
Стою и голову склоняю низко –
Нашел-таки того о ком молил,
Нашел отца под братским обелиском.
Святой огонь над прахом трепетал
Как будто виноватый за разлуку,
А я молитву новую шептал,
Чтоб встал сержант и посмотрел на внуков.

Борис Лысак

ВЕРХОМ НА МЕДВЕДЕ

На кондинскую тайгу тихо опускались сумерки. Длинные тени от вековых сосен начали незаметно расплыватьсь. Тайга становилась все строже и задумчивей.

Изредка от сильного мороза потрескивали деревья и поэтому казалось, что тайга наполнена какими-то неведомыми существами.

Мы с Петровичем (так мы обычно называли лесника нашего лесничества Степана Петровича Седых) добирались на ночевку до охотничьей избушки. Под лыжами тихо поскрипывал снег. Пальма, наша собака, понуро брела сзади, набегавшись за день по глубокому снегу. Да и мы, признаться, уходили, осматривая охотничьи угодья в Лосиной пади.

Но вот и конец пути. Впереди, между деревьями, зачернела избушка. Настроение сразу же у всех поднялось. Пальма обогнала нас и первой подскочила к домику.

Необжитой холодной темнотой встретила нас избушка, едва мы открыли дверь.

У таежников, охотников-промысловиков, существует старая добрая традиция – оставлять в местах ночлега предметы первой необходимости. Так было и сейчас – возле печки лежали сухие дрова и береста, на самодельной полочке – крупа, соль и спички.

Растопить печь, приготовить немудреный ужин и потом, скинув с себя тяжелые зимние доспехи, блаженно потягивать крепкий, горячий чай – это ни с чем не сравнимое удовольствие, которого никогда не понять городскому жителю.

Петрович был превосходным рассказчиком. В его охотничьих былях я не сомневался – он и в самом деле

повидал многое в жизни. Родился и состарился в тайге, почти никуда не выезжая, уезжал отсюда только на Великую Отечественную.

Я, как обычно при совместных наших ночевках, первый вызывал его на разговор. Вот и сегодня:

– Петрович, охота – это суровое ремесло. Но бывают же смешные случаи на охоте? Вспомни.

И вот под тихое потрескивание огня неторопливо течет рассказ.

– Пожалуй, тут и вспомнить не грех – ведь это было мое первое участие в охоте на медведя.

Раз зимой после сильных крещенских морозов, как сейчас помню, малость потеплело. Отец мой и дед Игнат собирались на охоту – отец заряжал патроны, а дед собирал котомки.

Деду Игнату стукнуло в то время семьдесят лет, но он был еще бодрый старик.

Мне было лет двенадцать, и я, как обычно, крутился у них под ногами, не столько помогая, сколько мешая и просясь на охоту с ними.

В это время возле дома послышался лай нашей Тайги и чужих собак, и в избу ввалился наш сосед, дед Кирилл, живший километрах в десяти от нас.

Дед Кирилл тоже был еще далеко не стар, но жил совсем одиноко – старший сын погиб у него в гражданскую, младший жил в городе. Жена, не выдержав одиночества, так как муж все время пропадал на охоте, уехала давно к младшему сыну и жила там постоянно. Помогали ему скрашивать одиночество и охотничать собаки – медвежатник по кличке Лентяй и соболятница Белка.

Переступив порог, дед Кирилл перекрестился, громко поздоровался и сказал:

– Слыши, Игнат, намеднись был с собаками возле Выселок и заметил медвежью берлогу. Под кедру, слыши, залег. Это, наверно, тот, который телка у Марьи, что на

Выселках, задрал.

— Хочу просить тебя с твоими мужиками, — продолжал он, — сходить помочь выковырять его оттуда. И захвати с собой мальца — опасности никакой — пущай привыкает.

Радости моей не было предела. Опрометью кинувшись одеваться и схватив подаренное дедом старенькое ружье, я первым выскочил на улицу.

— Ура! — от радости я даже поцеловал Тайгу.

С собой захватили всех собак. Когда прибыли на место, дед Кирилл расставил нас с ружьями по одной стороне, чтобы случайно не выстрелили друг в друга. Первым должен был стрелять отец, а потом будет видно. Мне, конечно, стрелять не разрешили.

Сам дед Кирилл вырубил небольшую ель и вершиной сунул ее в берлогу. Собаки подняли отчаянный визг. Из берлоги послышалось сердитое раздраженное рычание, и елка начала втягиваться в берлогу.

Но против «шерсти» обитатель берлоги ее не смог втянуть, хотя сделал несколько попыток. Вдруг елка вылетела со страшной силой, из берлоги выскочил огромный медведь и на какое-то мгновение замер, привыкая к дневному свету. Все это я видел мельком, так как от страха зажмурился.

Разозленный от потревоженного сна, медведь яростно рванулся в сторону собак, но тут же кувыркнулся от выстрела моего отца. И больше не поднялся. Как потом оказалось, пуля попала ему прямо в сердце. Собаки зашли от ярости, но скоро начали остывать, убедясь, что их извечный враг лежит бездыханный.

Тут и мы перевели дух.

— Ну и метко ты его срезал, — похвалил дед Игнат отца.

— Удачно попал под выстрел, — ответил отец. — Давай, мужики, перекурим это дело.

Достали они трубки, кисеты и начали закуривать, стоя возле убитого медведя.

Дед Кирилл, расставив ноги, стоял спиной к берлоге, а остальные присели на корточках, рассматривая медведя.

Я в это время старался приподнять голову медведя, пытаясь от натуги.

И вдруг услышал нечеловеческий крик. Мгновенно вскочил. Я увидел деда Кирилла... верхом на медведе. Сидел на нем задом, судорожно вцепившись косолапому в шерсть.

Медведь сам обезумел от неожиданного всадника, шума и лая кинувшихся к нему собак и, сделав десяток отчаянных прыжков, сбросил деда и, яростно атакуемый собаками, полез на сосну. Как оказалось, это был пестун, лежавший в берлоге с медведицей.

Когда прошло наше оцепенение и увидели, как дед Кирилл подымается со снега, мы... захохотали.

Я ни разу в жизни так долго и от души не смеялся. И, правду сказать, было над чем. Охая и ахая, дед еле добрел до нас. Оказывается, с перепугу с ним приключилась «медвежья хворость». И такое бывает на охоте. Сильно повлиял на него этот случай. Болеть он стал часто. А потом совсем уехал к сыну, – закончил свой рассказ мой спутник.

– Петрович, а куда делся пестун? – спросил я.

– Я его потом убил на дереве. Это был мой первый в жизни убитый медведь.

– Да, много воды утекло с тех пор, – вздохнул Петрович.

– Никого, кроме меня, из присутствовавших на той охоте уже нет в живых.

– Ну ладно, давай спать, завтра у нас еще много работы, – сказал он.

Петрович вскоре заснул, а я еще долго ворочался и размышлял об интересном случае и богатой приключениями жизни моего старшего приятеля.



Александр Смирнов в нашем районе больше известен как художник, чуть меньше, как исполнитель собственных песен, артист и совсем не известен, как поэт. Можно сказать, данная публикация – его дебют.

БАНЬКА

Кто в Сибири осел и надолго,
Ставит баньку себе первым долгом.
К ней пристроится дом и гараж,
Огород не испортит пейзаж.
Жизнь без бани – не жизнь, а увечье.
И убого житье человечье.
Что казенная баня иль душ?
По билету не вычистишь душ...
То ли дело своя, в огороде.
И хозяином чувствуешь вроде.
В день любой, а особо в субботу,
Банный день – нет желанней заботы.
Всю водицей заполню посуду.
И березовых дров не забуду
В пекло печки подбрасывать бойко.
Раскалю камни в каменке стойко.
Пропиталась, даю настояться,
Чтобы свежему жару впитаться.
Вымыл пол, вот и банька готова –
Может мыться семейство Смирнова.
Первым банную сладость вкусить,
Сам пойду, не заставлю просить,
По морозу неспешно шагаю,
Дым табачный со стужей вдыхаю.
Так, еще постою у дверей,
Нагоню на себя пупырей.
Дверь открыл, ох и дух настоялся!
Пар морозный к полу прижался.
Веник хрупкий залью кипятком,
Запах прошлого лета кругом.
А теперь и помоюсь неспешно,
Смою все, что нагрещено, грешно.

С чистым телом да вычищу дух,
И на каменку ковшиком – жух!
Мало? Сходу – вторую черпашку!
И присел баннолюб ярый, Сашка.
Осторожно на полок забрался,
Растянулся повдоль, распластался,
Полежал, хорошенъко попрел.
Тут и веничек в пору созрел,
А теперь не спеша, осторожно,
С ног по телу похлестывать можно.
Разбирает, и веник все хлеще
По спине и по прочему хлещет.
Ну-ка, паря, остынь, отдохни,
Воздух свежий на воле вдохни!
Вылетаю, весь ало-бордовый,
В снег валиюсь, жгучий, колкий, пуховый,
И валяешься, дуром блажишь!
Хватит, снова на кутник летиши.
И такая приятственность в теле.
Нету слов передать, в самом деле.
Что -то жгуче-восторженно-радкое,
Может, лучше, чем с женщиной сладкою.
Где там ковшик? Плесну! Да вдогонку!
И по новой, сколь хватит силенки.
Снова парюсь, уже на износ.
Ум за разум, глаза вперекос.
Еле-еле домылся, скатился.
Чистый, выжатый, еле прикрылся,
Полуголый до дому иду
Ох, без сил на диван упаду.
Мне холодного морсу жена
Принесет, жадно выпью до дна.
Нету морсу, есть атомный квас.
Отлежусь, да схожу еще раз.

По железной крыше нудный,
Зиобкий дождик моросит.
А душа, как пес приблудный,
В одиночестве скучит.
Ей чего-то не хватает,
Может ласки и тепла
Той единственной, что в осень,
Как растаяла, ушла.

Олег Ермолаев

СОН ФРОНТОВИКА

Я падаю в горячую траву:
меня убило нынче, на рассвете.
Послушайте, как вороны орут
и гнут тугие молодые ветки.

А я лежу в горячей той траве
не помышляя о судьбе и славе.
И только кровь на рваном рукаве.
И автомат в израненной канаве.

ГИТАРА

На стену оперлась гитара.
О чем задумалась она?
О том, что жизнь так коротка?
А может вспомнила былое,
когда в блескучей мгле свечи,
с ней рядом были только двое,
да звезды в северной ночи.
И в утешительную радость
шесть струн несли душе мотив.
И вот стоит гитара. Рядом
струны холодной перелив.
И, кажется, она заплачет
о том, что так ее влекло...
И струн серебряное платье
на грифе светит тяжело.

СОЛДАТСКАЯ ВДОВА

Ты садишься у камина
и глядишь в проем окна.
У растрепанной рябины
суетится темнота.
Скоро полночь. Звезды небо
обозначили собой.
Ты грызешь кусочек хлеба
и зовешь его судьбой.
А судьба, как в полночь ветер,
где-то ставнями скрипит.
Чу! К тебе подходит вечность
и ложится на кирпич.
На кирпич резьбы каминной,
на тепло сгоревших дров.
Как замедленная мина
сердца боль солдатских вдов.
А рябины одиноко
погружаясь в темноту,
к ней заглядывают в окна; —
отвести хотят беду.

Константин Мурzin.

ВЕЗЕНИЕ

Нет, зараза, все же мне не везет. Родителей своих не помню: рано умерли. В любви не повезло – безответная. С учебой тоже. Где я только не учился, да везде – не то. Работа дурная – электросварщик на трассе, трубы варю. Спина болит, ноги мерзнут. Больше десяти лет в вагончике живу, а квартиру не получил и в перспективе не светит. Денег чуть-чуть накопил, хотел машину брать, да благодаря реформам сгорели они в одночасье. Одна радость, что нет забот: не надо ничего охранять. Радость свободы от вещей: я могу все личное время посвящать своим интересам: играть в волейбол, настольный теннис, шахматы, гонять на велике, бегать по утрам, ходить на лыжах, собирать музыку, слушать регулярно новости... Редко, правда, читать стал – зрение испортил сваркой.

Вот и приходится радоваться тому, что ничего не имеешь, кроме работы, жены и ребенка. И свободен больше других от вещей. А это, прикиньте сами, не так уж и плохо, едреныть!

ОСТРОВОК

Десять лет в вагончике. Жить десять лет с семьей в железном ящике, где на человека приходится три квадратных метра. И все же здесь есть своя прелесть. Когда никого нет дома (т.е. в вагончике), я ташусь от музыки. Все очень просто. Сынок ушел в поселок есть мороженое в кафе

или на «видак», а жена к подружке. И такой кайф наступает. Я врубаю на полную мощность (25 вт) старый «Арктур - 001» и балдею. Блэк Сабатс, Ван Хален, Сикрет Сервис... Свечи... Тени... Даже паршивый вагончик нисколько не мешает воспринимать музыкальные образы. Это такая прелесть. Я ухожу от действительности и ее забот. Я забываюсь. Темы фантазии музыки захватывают. Невольно думаешь, как хорошо все же, что есть такой островок. Маленький кораблик...

Кругом темнота. Не с кем перекинуться впечатлениями. Зато можно слушать громко, чтобы ничего не слышать, кроме музыки. Ничто тебя не беспокоит.

Иногда одиночество может докучать. Но лучше быть одному, чем когда рядом какой-нибудь балбес. Помню, раньше у меня был «кент», почти друг. Мы пили и слушали музыку. И больше ничего. Почти не разговаривали и при этом совсем не надоедали друг другу. Это было странно прекрасно. Идиллия. Мы наслаждались вином и музыкой.

КОРАБЛИКИ

Воспоминания детства. Что может быть слаще, приятнее сердцу...

Маленький человек, лет пять ему. Для него чужая улица – другое государство. Я никогда не уходил за пределы моего квартала. Названия улиц: Свердлова, Карла Маркса, Ленина – ассоциировались с другими городами, неведомыми мирами. Я знал свою страну – улицу Гоголя.

Весна – это для всех что-то новое, трепетное, необъяснимое волнение, любовь, жажда жизни. А мы, дети,

играли в кораблики: чей будет первым. Корабликами служили спичечные коробки, семена американского клена...

Солнечный день. Дружно тает снег, мощные ручьи днем и ночью без устали уносят талые воды. Улица, где напротив стояли старые домики. Единственная гордость – асфальт посередине. Но для нас самое главное – ручей. В нем весь интерес. Начинаются гонки. И все пространство наполняется детским смехом, озорством и еще, черт знает, чем-то таким, что разрастается и будоражит все окружающее. Это состояние восторга в начале нашего государства (квартала), заставляя вздрагивать маленькие тельца от переживаний: чей кораблик будет первым? – и кончалось так же внезапно – в водозаборной решетке, куда в конечном итоге попадали наши кораблики. И так без конца.

Музыка талого снега, детской приятной беспечности, каждый вечер ласково-жалостными воспоминаниями звучит во мне. И я засыпаю с ребячьей улыбкой на губах: когда-то я был счастлив.

Анатолий Назаров

Картины милых сердцу мест:
Дождями вымытое поле,
И две лошадки на приколе,
С утра готовые в объезд.

Девчонка с алыми бантами,
И мальчик с золотой копной
Мечтает о Прекрасной Даме
И тайных встречах под луной.

По вечерам в густой осоке
И острых стрелах камыша
Звучит до хрипоты высокий
Надрывный голос лягушат.

И месяц желтыми мечами
Пронзает белой липы стан.
И звезды падают, как чайки,
За рыбой в синий океан.

Серый дождь вытягивает нити
Из кудели неба грозового.
Где найти то самое мне слово,
Чтоб в сердцах осталось, как в граните?

Я иду нехоженой тропою,
По траве нетронутого сада
И латаю душу от пробоин
Желтыми цветами листопада.

Девушка с осенними глазами,
Полными невысказанной грусти,
Позовет меня в высокий замок,
Околдует там и не отпустит.

На сосне я делаю зарубки.
Каждый день – как дань последней ставке.
Почему мой стих хрустально-хрупкий?
Иль сырье не то в словесной плавке?

Каждый день я открываю снова.
Отыщу ль среди туманов синих
Полное любви к моей России,
Никому не давшееся слово.

Мои леса – зеленый бархат –
На солнце выцвели давно,
И пьет по вечерам глухарка
Брусники красное вино.
Под перезвоны сосен рыжих
Я забываю белый сад.
Пою о том, что сердцу ближе,
Пусть даже песня невпопад,
Я знаю, есть такие чащи,
Где только всхлипы глухарей,
Где воздух пробуждая пьянящий,
Я стану к ближнему добрей.
Не забывал, не забываю
Тайги таинственную грусть.
И если окна забиваю –
То все равно сюда вернусь.

Был март великим музыкантом,
Когда рассыпав ноты в снег,
С неподражаемым талантом
Сыграл вступление к весне,
И там, где ноты в снег упали,
От их весеннего тепла
Цепочка черненьких проталин
На белом снеге пролегла.

Эдуард Баталин

ПОЛЕ

Есть дань ушедшим битвам, старине,
Есть памятники так и не дожившим
До новых перемен в моей стране,
Что им казались делом наивысшим.

Есть памятные надписи в стихах,
Есть памятные встречи и прощанья.
Но поле, полу русское в снегах! –
В нем всех веков зовущее молчанье.

1948-й

Мне запомнился черный кларнет
Из всего духового оркестра
После тех очень тягостных лет
Ожидания тихого детства.

А оно – не совсем стороной
И не то, чтоб совсем не призналось,
Но впитали мы вместе с войной
Нестерпимую тыла усталость.

И теперь лишь три года спустя
После вдоха победного мая,
Новый год как родная семья
Заводские все вместе встречают.

До сих пор не забыть мне о нем:
Новый год посредине Урала
Вдруг расплакался мелким дождем,
Словно лета зиме не хватало.

Клен кудрявый... Отряд партизанский...
Молдаванки задорный куплет...
Все живет. Но сильней и пристрастней –
Трубы медные, черный кларнет.

Ценить умеем... Полюбите время.
Прозренье суток, лет, секунд.
И раннее природы откровенье.
Как-будто в том деревья виноваты,
Что вспоминают лета спелый зной...
Не надо с временем запанибрата.
Любите время. Слушайте крылато,
Как чистый лес прощается с зимой.

Чтобы снега восторг и прощанье –
Все душа моя перенесла
И окрепла в своих начинаниях,
Помоги мне словами, весна.

Ты – как крыльям опора воздушная,
Ты – как струнам живая дека
Ты – художника, мира послушного –
Неслабеющая рука.

Подскажи только слово, чтоб свериться
Всею прожитой жизнью с тобой,
Чтобы с прошлую только не встретиться,
Чтобы встретиться с новой судьбой.

Чтобы верному быть откровениям
И признаниям лучшим твоим,
И шагая дорогой весеннею,
Ощущать себя вновь молодым.

Ну что ж...
Как все...
И годы позади...
Как в юности открытье не нагрянет,
В начале откровенного пути
Твою гениальностью не станет.
Но продолжают с новым естеством
Те силы неизвестности работать,
Что обладают связью и родством
С всей вселенной просто без расчета
С молчаньем гор или рожденьем звезд
И с одиночеством твоей планеты.
Но ты – росток от этих сил – не прост
Под притяженьем видимого света.

ФРОНТОВЫЕ ПЛАСТИНКИ

Возникает шипенье иглы,
Из линялых конвертных синек
Выйдут к нам, как солдаты из мглы,
Боевые шеренги пластинок.
Голосами обугленных лет
Нас придиричivo строго спросят:
Как храним завоеванный свет?
Виноградов, Шульженко, Утесов.
Темной ночью Смоленсков, Одесс,
Сталинградский полей и Берлинов,
Нас расспросит негромко Бернес.
Как живем и на что тратим силы.
Песни той, незабвеннои поры –
Боль и радость, и верность святая,
Немудрены, а все же мудры,
В нашей памяти не умирают.
Модным дискам до них, как до звезд!
Им в динамиках стереофонов
Не греметь. Но волнуют до слез
Голоса фронтовых патефонов.

ВСПОМНИ ОБО МНЕ

Когда река проснется вся в тумане
И первый луч метнется на окне
И вишни, все в цвету, тебя поманят
Взгляни на них и вспомни обо мне
Когда на небе заиграют стрелы
Промчится гром на буйном скакуне

И град ударит по колосьям спелым
Взгляни на них – и вспомни обо мне.
Когда меня уже совсем не станет.
Присядь тихонько на лесистом пне,
Взгляни на птиц, которые отстали,
Прости меня – и вспомни обо мне.

Прозрачный воздух. Черные поля,
Лиши изумрудно блещут озимые.
Да перелесков краски озорные
Сметает осень, под ноги стеля.
Затихнет скоро лиственное буйство.
И северная наша сторона
Оденется в холодные тона.
Задремлет лес, не обостряя чувства
Былого одиночества. Рябиной
Подсвеченено морозное окно.
И мысли все сплетаются в одно:
О памяти июня, о любимой.

МОЯ ОКА

Глухариные тока.
Тянет дым издалека,
До чего же ты красива,
Светлоокая река.
Величава и легка,
Как Есенина строка.
Синим взглядом,
Белым садом
Манит путника река.

Не мелка, не глубока
Дно из желтого песка
Не строга, не говорлива
Но кокетлива слегка.
Коль случится под закат,
Что дорога нелегка,
Как на друга обопрусь,
На тебя, моя Ока,

Уже снега в краях суровых наших
Зима пришла надолго и всерьез.
И не довольствуясь стволами павших,
В стволах стоящих жилы рвет мороз.
А у меня в глазах июль румяный
Трава по плечи в пойменных лугах.
И ты стоишь царевной Несмеяной
В росе и с солнцем в поднятых руках.
И смех сквозь слезы, и сквозь смех слеза
Меня преследует во сне и наяву,
Забыть нельзя и вспоминать нельзя,
Вот так в двух измерениях живу.

Михаил Навьюхов

Нет, лучше Оби мне не надо
На ней моя юность прошла
В рабочем поселке когда-то
Хантэйка меня родила.

И Обь, осененная славой,
Меня из мальчишеских лет
Несла на волне величавой
Сквозь тысячи бурь и бед.

Нягань перекатом
красит перекат,
На «Вихрях» ребята
ездят « тик-и-так».
Сел к Ивану в лодку
«Вихорь» – зверь рычит, –
винт сердито воду
за кормой сверлит.

Вслед за нами трое
едут на «Вихрях»,
и сиреной воют
часто на мелях

Поздний вечер стелет
Гущу темноты.
Слышиу – полетели
шпонки и винты.

Кто-то смачно кроет
Мелкий перекат.
В темноте все трое
ищут результат.

А Иван Киряев –
лодочник, езок,
русло выбирая
прибыл к дому в срок.

Нягань перекатом
Кроет перекат
Ночью – кому надо –
ездят тик-и-так.

Жизнь костром сгорает,
память словно дым.
Говорили деды
внукам молодым:

Коршуна любого
бей, не промахнись.
И тебя полюбит
вся лесная жизнь.

В этом вольном мире
лес – счастливый дом,
заходя, залейся
радости вином.

От души пьянея
только не забудь:
охраняй, как глаз свой,
и не как-нибудь!

В крае сердцу близком
Солнце в небесах
Между сопок низких
Вьется речка Нях

Берега столетий
сторожем стоят,
а ручьи, как дети,
в помощь к ней спешат

на просторе вольном
у нее всего
не хватает только
слова моего:

В ней водились панты,
золотишко, мех
Нях! – назвали ханты,
и по-русски – смех.

Вечер уж над сором
Крылья распостер.
Рядышком с «мотором»
развели костер.

Нет нигде травинки
и темно вокруг.
Лишь горит «бензинка» –
Самый лучший друг.

Снег нас облипает
стаей белых мух.
Холод нас пугает,
запоздалых двух.

Огонек бессилен
греть нас на ветру,
сохнем в парусинных
робах на сору.

Лопнула стеклянка,
и погас наш свет.
Мигом на Крестьянку*
бросил нас рассвет.

Ж/станция «Крестьянка».

Сердцем принимая
вешнюю зарю,
шторму подпевал я
в Вандыимском сору.

Поднимались волны
выше синих гор
я домой приехал
через этот сор.
В смелость потопившись
телом и душой,
Я качаюсь между
небом и землей.
Белые махины
брзыгами дымят,
опускают лодку
в бездну, словно в ад,
То поднимут кверху –
аж разинешь рот! –
хоть башкой об синий
бейся небосвод.
Прибыл. Там Дьячковы
говорят: «Давно
видим, непонятно –
лодка иль бревно?!

Сучья рвет с деревьев
ветер штормовой,
проглотить бы мог он
с лодкой небольшой!» –
– за совет спасибо,
милый человек,
Дружен я с природой
свой короткий век
К строгостям природы,
как к себе привык.
Сам себе учитель,
Сам – я ученик.

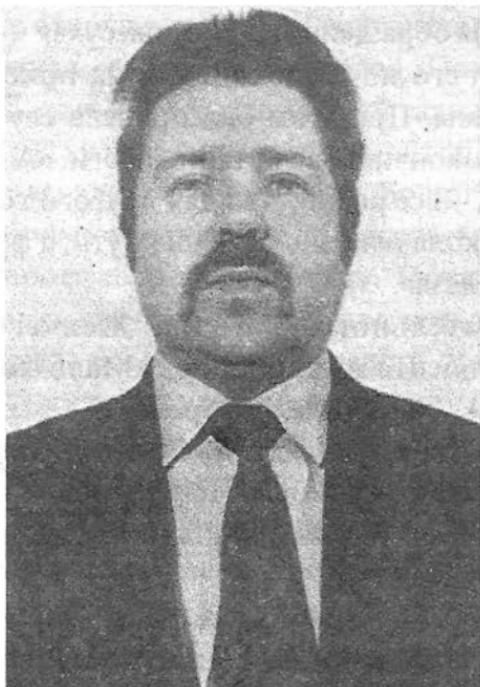
Милая Россия,
Милые края,
Я на небе синем
Не ищу слова.

Вырос в глухомани
От людей вдали.
Видел, как шаманят,
Идолу клялись.

Не пришлось купаться
в море русских слов.
Песни мне струятся
с глубины лесов

Их не закрываю,
в сумках не храню,
всюду распеваю
радостному дню.

Их разносит ветер
в дальние края...
В ночь уходит вечер,
в сон топлюсь и я.



Степанов Валентин Егорович родился 2 августа 1945 года в Алтайском крае.

В 1970 году окончил Томский медицинский институт. С 1979 года работает в Советском. Имеет специальности врач – психиатр-нарколог и невропатолог. Писать юмористические рассказы начал с 1997 года. Публиковался в районной газете.

ПОЛИПРАГМАЗИЯ

Самым первым посетителем молодого специалиста Константина Петровича Желчегонова стал мужчина лет 30. Весь его внешний вид говорил о крепком здоровье, нетронутом болезнями.

Поводом для обращения послужила сухая мозоль на ноге. Особенно она его не беспокоила, а на прием пришел по настоянию жены. При этом она привела случай, который чуть было не закончился ампутацией ноги. «А нога для тебя, — сказала она, — все равно, что для другого голова. Ты ею, вон, деньги заколачиваешь. Как ни крути, а футболисту без ноги никак нельзя».

После тщательного осмотра Желчегонов решил направить пациента в стационар. «Мало ли что, мозоль мозоли рознь», — рассуждал он зрело.

При поступлении в отделение у больного кроме этого был еще выявлен легкий насморк. Посоветовавшись, решили и его пролечить: — все-таки лишняя благодарность в Книге отзывов не повредит.

В первый день больному были сделаны предварительные назначения. За основу взяли противовоспалительные, противоаллергические, противовирусные и противомикробные препараты. Заведующая отделением посоветовала на всякий случай сразу назначить сердечно-сосудистые и желчегонные средства. Один ординатор, который в свое время сам стал жертвой паразитов, настоятельно посоветовал что-нибудь от глистов. Санитарка, принимавшая участие в обсуждении, с учетом горького опыта перехода на больничное питание порекомендовала с профилактической целью что-нибудь «от живота».

На другой день больной стал жаловаться на зуд кожи,

отеки под глазами и покалывание в области печени. «Хорошо, что вовремя госпитализировали, — довольно сказала заведующая, — Вот что значит опыт и умение клинически мыслить». Вспомнив рекламу по телевидению, с целью защиты печени, добавила «Эссенциале».

Жена больного, прия проведать мужа, не узнала его. Глаза почти не открывались, руки и ноги стали как бревна, с трудом он узнал ее, отвечал невпопад. Просил, в случае чего, положить с ним мяч, бутсы и все остальное, что нужно для игры. А детям просил передать, чтобы следили за ногами, не допускали омозоленности. Болезнь серьезная.

Состояние больного продолжало ухудшаться. Из области был вызван профессор-консультант. Пока суд да дело, решили добавить кое-что из того, что осталось в аптеке. Вскрыли резервы. Вскоре, кроме средств стимулирующих мускулатуру матки, уже ничего не было. Жену предупредили, чтобы готовилась к худшему. «Медицина бессильна, случай уникальный», — пояснили ей.

В траурных хлопотах прошли следующие сутки. Прощаться приехали родные и близкие. Все говорили о том, какой хороший был человек. Жить бы да жить еще, но, видно, не судьба. Кто-то из родственников посоветовал взять больного домой попрощаться. Так и решили.

Тихо плача, жена вошла в палату. К своему удивлению и радости она увидела, что муж сидит на кровати, опустив ноги в тазик с содовой водой. Рядом стоящая санитарка пояснила, что такие случаи были в ее практике. Сколько мозолей она свела с тех пор, что и сама не помнит.

Несмотря на проведенное лечение, больной остался жив, начал поправляться. Консультант, который приезжал из области, сказал кратко: «Полипрагмазия». А попросту добавил, что это болезнь, связанная с одновременным назначением большого количества лекарств. И наше счастье, что в аптеке вовремя кончились медикаменты.

Только это и спасло больного. На прощание консультант задумчиво, как бы про себя, сказал, что нужно иметь крепкое здоровье для лечения в наших больницах.

ФОТО - САЛОН

Как-то раз прибегает ко мне домой наш участковый Кузьмич и говорит: «Выручай, Гриша, – дело срочное. Решили снова поставить на улице щит «Пьянству – бой!». Начальник сказал, чтобы завтра уже стоял. Хватит, мол, нам на пьяниц смотреть сквозь пальцы; некоторые дома живут меньше, чем у нас в вытрезвителе. В общем, пьянству – бой! – и сильно ударил кулаком по столу. – Как на грех свежих клиентов в вытрезвителе нет – сам понимаешь, как нынче с зарплатой. Если не выручишь, не видать мне больше звезд и неба», Я спрашиваю: «А что, собственно, от меня нужно?». «Да сущий пустяк – фотокарточку. Дай какуюнибудь похуже, где тебя нельзя узнать, а на стенде под ней укажем какого-нибудь Иванова Петра Петровича. И тебя не узнают, и с меня погоны не сорвут. Выручай, больше некому. Несколько своих фотокарточек наклею – есть такие, где я сам себя не узнаю – вот, глядишь, и задание выполним».

А у меня в альбоме каких только фотокарточек нет: и на коне скачу, и на верблюде сижу с девушкой, и в форме полковника милиции, и в плавках на пляже. На одной фотокарточке стою в пальто, шапке, валенках, рукавицах на берегу моря. Кругом солнце, пальмы с обезьянами, а под фотокарточкой надпись «Привет из Ялты. Лето - 97». Конечно, ни в какой Ялте я не был, в пустыне и Америке тоже не приходилось бывать, а все сделали в нашем фото - салоне. Там у них интересно сделано: нарисовали на фанере всякие картины, людей, а там, где должно быть лицо – дыру прорезали. Заходи с другой стороны и заглядывай в эту дыру

— вот и все. Мне самому больше нравятся фотки, где я в форме летчика и милиционера. Когда гости приходят к нам — первым делом показываю им фотокарточки. На одной я раздираю пасть крокодилу. После этой фотки все долго смотрят на меня с уважением, спрашивают, как это мне удалось, с виду, вроде, хилый, а смотри что вытворяет. Я, конечно, рассказываю. Самое главное, говорю, не бояться, если забоишься — крокодила не осилить, а крокодил осилит тебя, сколько таких случаев было на моей памяти.

В общем, посмотрели мы с Кузьмичом альбом и более подходящей фотокарточки, чем в милицейской форме, не нашли. Кузьмича, конечно, смущило это — все таки как бы то ни было, а часть мундира... С другой стороны, меня устраивало то, что на ней меня никто не сможет узнать — я фотографировался после обмывания получки, ну и, сами понимаете... Кузьмич еще раз внимательно посмотрел на фотокарточку и говорит: «Ты, Григорий, чем-то смахиваешь на одного начальника, тоже полковника, да и лицом вы один к одному».

А в это время на заседании районной комиссии решили восстановить районную Доску почета. И надо же было так случиться, что одним из первых на ней оказался полковник Зbruев. То ли от непродуманности, то ли по злому умыслу, но стенд «Пьянству — бой!» поставили рядом с Доской почета. На торжественном открытии собрался почти весь поселок. Начальник медвытрезвителя объяснил соседство двух стендов тем, что их пациенты будут восприниматься еще более омерзительно на фоне «флагманов» нашего общества. Была заслушана речь, в которой кратко говорилось о каждом, кто был на Доске; потом заиграл духовой оркестр, после чего все подошли поближе к стендам и стали рассматривать всех более детально. Здесь же, понятно, находились и те, кто был на Доске почета. Мы с Кузьмичом стояли около стенд «Пьянству — бой!», а

полковник Збруев – около своего портрета. Вскоре в толпе началось непонятное оживление, все начали о чем-то шептаться и показывать пальцами то на Збруева, то на стенд «Пьянству – бой!». В общем, все узнали на Доске почета и на стенде одно и то же лицо. Что после этого было – лучше не вспоминать. Досталось всем. До сих пор не можем отойти. А виноват во всем фото-салон, больше некому. Работает «под фанеру», а нам за них отдуваться приходится.

МАНЕКЕН

«Здравствуй, друг Гриша! С приветом Сеня! О себе сообщаю, что в настоящее время нахожусь в больнице, куда попал по своей глупости. Сам переломал себе все руки и все ноги, включая коленные чашечки.

А дело было так. Наш директор, после поездки в Японию, решил на заводе внедрить одну новинку. Оказывается, у них в приемных администраторов стоит резиновый манекен точь в точь как сам руководитель, не отключишь. Вот, варнаки, что делают! Каждый, кто недоволен начальником, очень даже просто может отдубасить этот манекен и ему ничего не будет, а душа успокоится до следующего раза.

И вот недавно поставили эту куклу в приемной нашего директора. Я первое время их все путал. Как-то полчаса рассказывал ему о своем рацпредложении, пока тетя Клава, техничка наша, не начала протирать его мокрой тряпкой. Я чуть в обморок не упал: подумал ну все, пропала баба, не работать ей больше, а по хулиганке может и загреметь куда надо. Потом кое-как разобрался что к чему. Теперь всегда подхожу поближе и смотрю прямо в глаза. У настоящего директора дергается левый глаз, а у ненастоящего не дергается. В этом все отличие.

Первой отважилась тетя Клава. После того, как директор

сильно натоптал в кабинете, она так отделала его шваброй, что тот полмесяца лежал в травматологии. Оказывается, она перепутала их и вместо манекена отдубасила настоящего. Умора! Скажи кому – не поверят. Когда ее просят рассказать, как все было, она охотно говорит, что ей все одно, кого лупить, лишь бы пол был чистый, а остальное ее не касается.

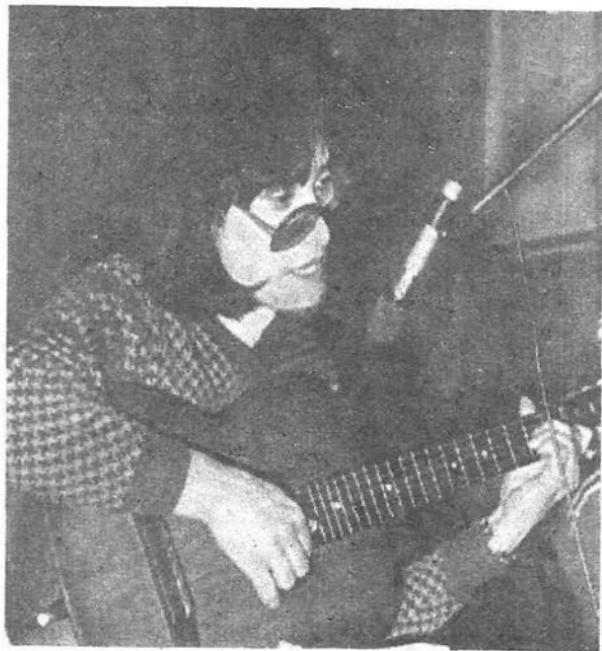
Сам я начал заниматься «боксом» после того, как директор не дал мне отпуск без содержания. Вышел из кабинета и сходу, на одном дыхании, провел серию ударов. Как не крути, а 30 боев на ринге – это не шутка. Правда, 29 я проиграл, но зато один за мной. Это когда соперник не появился на поединок, побоялся моей серии: правой – в левый глаз, левой – в правый глаз, удар по корпусу и вдобавок мой коронный апперкот в нижнюю челюсть.

В тот день, когда я окалечил себя, как обычно, в очереди был первый. И надо же было случиться, что директор заказал себе чугунный памятник, чтобы установить его у себя на даче. Временно решили поставить его в приемной на место манекена. До того, варнаки, точно сделали, что не отличишь от настоящего. Ну, я вхожу и прямо сходу провожу свою знаменитую серию, да еще коленками наподдавал в пах. Так разгорячился, что в азарте не почувствовал никакой боли. Спасибо тете Клаве. Она вовремя остановила поединок в виду явного преимущества с моей стороны. Если бы не сказала, что он чугунный, я бы, наверное, все три раунда провел. Только когда до меня дошло, что он из чугуна, я, как подкошенный, рухнул на пол. В общем, полный нокаут получил. Тут сразу на носилки меня и в травматологию. Хирург сказал, что переломаны все руки и ноги, а коленные чашечки – вдребезги, видно, уже не собрать, придется теперь без чашечек как-то обходиться.

На этом письмо заканчиваю. Пиши прямо на больницу.

Месяца два–три еще проваляюсь здесь. Кормежка ничего – жить можно. Медсестры ногти стригут. А одна ничего, хорошенькая. Обещает мне ноги помыть. Я читал ей свои стихи. Ну, те, самые лучшие из моих поздних, там еще слова такие есть: «Пиши мне, милая, пиши и этим меня утеши...» Помнишь, я читал их на встрече творческой молодежи, куда тебя приглашали, как мастера чугунного литья, а меня, как перспективного поэта – самородка? Вы, говорит, поэты, все какие-то подвинутые, не то, что остальные, с вами не соскучишься.

На этом писать заканчиваю. С приветом твой друг Семен Пузырьков».



Надежда Аллаева постоянный участник литературного объединения «Кедр». Она много пишет, тонко и искренне чувствует. В ее стихах много точных, опоэтизованных картин жизни леса. И это не случайно: несколько лет жизни Надежды в нашем районе были связаны с работой в тайге. Сейчас Надежда Аллаева живет и работает в г. Нягани.

Утра светлая печаль...
Лес тяжелым ливнем смочен,
Красит нежный иван-чай
В теплый цвет песок обочин.

Утра светлая печаль...
Я поутру вижу снова
На лице твоем печать
Безразличия немого.

Как умеешь ты молчать!
Неприступно, равнодушно...
Утра светлая печаль
Превратится в полдень душный.

Не смею удержать тебя, любимый,
Ни ночью, по июльскому недлинной,
Ни светлым днем не смею удержать.
Я не умею пальцы скав до боли,
Вцепиться в край своей счастливой доли,
Боясь и шевелиться и дышать.
Я разомкну безропотно обятья,
Слезу не уроню себе на платье,
Хоть может быть я здесь и не права.
Уже прибита ливнями трава,
Отплакала кукушка в том лесу,
И руки застывают на весу...

Мне больше не о чем кричать,
И петь, и плакать не о чем.
И все сначала нам начать
Уже нельзя и незачем.
Грохочет первый гром вдали,
И облака, как корабли,
Шторма выдерживают стойко...
А я одна и мне не горько.
Придумать что-то о любви?
Увы, уже не хочется.
Но если б только знали вы,
Как сладко одиночество!

Все отступило на задний план:
Солнца закатного мутный экран,
Пыльное небо душного вечера.
Больше надеяться нечего.
Все отступило на задний план
Воздух влюбленными взглядами пьян.
Катится в небе луны колесо.
Не для меня это все.
Все отступило на задний план.
Снова ладонь опускаю в карман.
Вот он – на завтра плацкартный билет.
Прошлого не было, нет!

В парке осеннем – кладбище листьев,
Серых тонов перелив небогатый,
Тонких стволов, оголенных и чистых,
Вид отрешенный и виноватый.
Росчерк ветвей непривычен и легок.
Ломкая графика в сером сиянии.
В парке осеннем тихо и строго.
В нем – обещание и ожидание.
В сумерках тают легкие тени,
Лишь выделяются, словно ожившие,
В тонком сплетеньи ажурной сирени
Капельки листьев, опасть позабывшие.

Белая гладь вместо синей воды.
Белая гладь – и прожилки тропинок.
Росчерком легким темнеют кусты
Юных рябинок.
В воздухе самую малость прогретом,
Тает парок на лету.
Я попрошу, погаси сигарету,
Жаль нарушать чистоту....



Михаил Тимофеевич Яковлев старейший и активнейший внештатный сотрудник газеты, ветеран войны и труда, почетный гражданин Советского района. Одним из первых начинал строить новые поселки, прокладывал дороги для будущих жителей района. Михаил Тимофеевич – беспокойный человек, он никогда не пройдет равнодушно мимо непорядков, но это и очень наблюдательный человек. Его зарисовки, рассказы о природе, животных полны и человеческой боли и восхищения перед красотой, сотворенной Богом, но, к сожалению, часто уничтожаемой человеком.

ПЕТУХ – ПОБЕДИТЕЛЬ

По соседству со мной, на краю деревни, у самой речки Отношки жила женщина, Апполинария Пименова. У нее во дворе среди кур разного оперения – белых, красных, желтых, серых и черных – гордо ходил петух с золотистым отливом на шее, оранжевыми крыльями и черным пышным хвостом. И голову его украшал гребень не продольный, розовый, как это обычно бывает, а кустистый, наподобие короны. Этот петух из редких красавцев был: крикун, певун и забияка, наводивший страх на своих собратьев в соседних дворах...

Из его гарема одна курица-наседка вновь пополнила стадо, выпарив более десятка цыплят такой же пестроты, как и все куры-родичи. Однажды она вывела цыплят из двора в подворотню, где росли высокие травы, и давай разгребать мусор и землю, приучая своих пушистых деток самостоятельно добывать корм: букашек всяких, червячков. Так они удалялись все дальше от двора всей семейкой.

Но вот в воздухе появился коршун. Плавно взмахивая крыльями и кружась, он высматривал добычу на земле... Бесшумно спикировала птица на наседку с цыплятами, но курица, вовремя заметив хищника, дала сигнал цыплятам, и они в один миг попрятались в траве, прижавшись к земле. Тогда коршун схватил наседку и она по шальному кудахтала.

Петух, нежно ухаживавший за своим гаремом, услышал крик, вмиг перелетел через забор двора и кинулся выручать несчастную курицу. Он налетел на коршуна с такой яростью, что застрял в его цепких когтях, и коршун стал поднимать петуха в воздух. Спасенная наседка вместе со своим выводком бросилась во двор.

Коршун поднял петуха на несколько метров от земли, и там, вверху, продолжалась между ними потасовка. Петух, по-видимому, сумел очень удачно и больно клюнуть хищника, и тот волей-неволей выпустил его из своих цепких когтей. Полетел петух на землю растрепанным, теряющим перья, комом. Ударившись о твердую почву, на момент растерялся, а потом вскочил на ноги, и с громким криком помчался в свой двор, перепугав все куриное стадо. Куры оцепенели от вида своего нервного кавалера. Из-под глаз и из-под шпор петуха сочилась кровь, он во все горло кричал и кудахтал. И если бы это громкого голосе петуха можно было перевести на человеческую речь, то получилось бы примерно так: «Сколько раз я могу вас предупреждать, чтобы не отлучались далеко со двора! Да все не слушаетесь, я из-за вас чуть не погиб. Язви вас, так-перетак!...» Потом петух успокоился и ласковыми приговорами привлек к себе кур. А одну курочку даже как следует потоптал. А потом, как ни в чем не бывало, вскочил на забор и громким победным голосом протяжно загорланил. Напомнил петухам - собратьям о своем существовании.

ЖУРАВЛИХА

Журавли – птицы грусти и радости. От природы они наделены такими свойствами, что могут всколыхнуть душу, нагоняя грусть, разбудив мечты, заставляют задуматься и отдаваться чувствам вдохновения.

Веками слушают люди протяжное волнообразное курлыканье, летящее над полями, лесами, селеньями, и затихающее вдали за дымкой горизонта. Нам кажется,

именно с прилетом журавлей наступает настоящая весна, пробуждается могучая природа. Многим знакома детская радость – завидев птичий клин и услышав протяжное разливающееся пение, – закричать возбужденно:

– Журавли, журавли летят...

О журавлях сложено много душевных песен. Когда люди поют их, то непременно перед взором встают величавые образы этих удивительных птиц, и наши русские леса и луга, подернутые осенним нарядом багрянца, где из-под заоблачных высот разливаются над задумчивой природой щемящие звуки журавлиной песни, а человеческая душа наполняется поззией...

Не один раз приходилось мне любоваться этими замечательными стройными серо-дымчатыми птицами, слушать их голоса и, казалось, в этот момент не было для меня музыки лучше, чем эта...

Поблизости от моей родной деревни Большая Крутая находится займище «Журавлиха». Еще с прадедовских времен пошло это название. Легенда рассказывает, что однажды поздней осенью неизвестный охотник шел возле займища и увидел, что в стекловину заледеневшей воды вмерзла журавлиха. С тех пор и окрестил народ это место Журавлихой. До сих пор журавли вьют здесь свои гнезда. Далеко от жилья, от проезжих дорог, пастищ и полей. Журавлиха стала чем-то вроде заповедника для этих птиц. Высокие кочки, высокие травы, осока, тростник, камыши, множество ящериц, лягушек, тритонов, всяческих водорослей – все это создает благоприятные условия для обитания здесь журавлей с весны до поздней осени.

Неоднократно я находил в этих местах нехитрые журавлиные гнезда, а в них по одному – два зеленоватому

яйцу, размером чуть больше гусиных. Неоднократно встречал в зарослях долговязых журавлей и любовался взрослыми птицами, когда на подлете к Журавлихе они могучим веером опускались в свое родное займище, а затем вновь поднимались в воздух и плавно кружились, издавая спокойные, одухотворяющие звуки.

А однажды мне посчастливилось увидеть настоящее чудо – журавлинные танцы во время брачных игр.

У Журавлихи находился покос, где я соорудил примитивный шалашик на случай сырой погоды. В это тихое, раннее утро я находился в шалаше, вход в который был хорошо замаскирован. Накануне журавли прилетели в родное займище и вдруг появились на небольшой еланке в нескольких десятках метров от меня. Было их немного, около десяти и, по-видимому, птицы уже присмотрелись к безмолвному шалашику, так как не обращали на него особого внимания.

Три старых журавля стояли в сторонке и были настороже, а четыре пары, по всей вероятности, молодые, стали расхаживать по лужайке, делая небольшие круги, вытягивая шеи, изгибая их друг перед другом, по очереди хлопая крыльями и семеня ногами. И вдруг, распустив крылья, стали подпрыгивать вверх, меняясь местами и издавая то тихие, то сильные крики. Птицы то кружились на месте, то выстраивались в настоящий хоровод... Я буквально замер в своем укрытии, боясь вздохнуть, и заворожено глядя через небольшое отверстие на неописуемое зрелище журавлинных танцев.

С первого взгляда трудно было определить, кто из птиц дама, а кто кавалер. Однако, вскоре понял, что «кавалеры» были покрупнее «дам».

Вот две пары сомкнулись вместе, образовав круг, и подпрыгивали вверх, изгибаши шеи, перебирали ногами, выкидывая такие «кренделя» и коленца, что я был просто восхищен. Старые журавли, стоящие «на часах», наблюдали за молодыми, как бы принимая у молодоженов экзамен по партнерскому искусству, не забывая поглядывать по сторонам.

Вдруг где-то вдали грохнул выстрел и эхом раскатился по окрестностям. Птицы все разом взлетели. Они недолго покружились над займищем, но, вновь опустившись на землю, долго и настороженно стояли на одном месте, не решаясь приступить к играм.

С тех пор, когда я вижу в воздухе клинообразную вереницу журавлей и слышу их волнующее курлыканье, всегда вспоминаю необыкновенный концерт, увиденный мной в Журавлихе.

ТАИНСТВЕННЫЙ УЛЕЙ

Шел я по осеннему лесу, чутко вслушиваясь в слабый шум деревьев, шорох листвы. Вдруг на ветке одной из елочек случайно увидел большой с прозеленью шар, чуть меньше футбольного мяча.

Сначала подумал, что это гнездо ремеза. Но когда подошел поближе и лучше всмотрелся, то был совсем озадачен. Шар не имел ни единого отверстия. Весь он был обтянут какой-то узорчатой массой и надежно прикреплен к нижней ветке дереваца.

Я решил осторожно потрогать странную штуковину. И только слегка притронулся к ней рукой, как шар вдруг будто

взорвался. Из него по невидимым замаскованным отверстиям вылетел целый рой маленьких лесных пчел. Я едва унес от них ноги.

Когда пчелы немного успокоились, я снова приблизился к лесной находке. Насекомые еще некоторое время кружились, потом все, как по команде, скрылись в своем шарообразном улье. Опять же по каким-то невидимым каналам.

Стоял погожий солнечный денек. В лесу вовсю хозяйничала осень. Полюбовавшись ее красками, тишиной, я вернулся домой.

А к вечеру началось похолодание. Спустя еще два дня в воздухе появились белые мухи. Потом повалил сплошной снег. Мне не давал покоя таинственный лесной улей, его обитатели. Неужели они будут так зимовать? – размышлял я.

Однажды не выдержал, решил сходить в лес. Без труда отыскал заветное место. Шар вместе с нижними ветками елочки был наполовину занесен снегом. Мне даже показалось, что лесной улей опустел. И, движимый любопытством, снова коснулся его ладонью. Но внутри его тотчас же послышалось недовольное жужжение, похожее на шипение. Значит, лесные пчелы находились в своей обители и были живы – здоровы.

Успокоенный, возвратился домой. Однако по временам не переставал думать: много ли в том шаре пчел, хватит ли им запаса меда на зиму и есть ли он вообще у них?

Правда, прошлая зима была сравнительно теплой и снежной. Это вселяло уверенность, что пчелы выживут.

И вот с наступлением лета снова отправился в лес. С нетерпением отыскал знакомый шар. Лесной улей жил своей

жизнью. То и дело прилетали и улетали пчелы. Занятые своим нелегким трудом, они совершенно не обращали на меня внимания.

А однажды заметил, как снизу шарообразного улья на землю капали светлые росинки душистого лесного меда. Это значило, что за пчел можно быть спокойным. Они в достатке запасли себе корма.

Под осень я снова наведался в лес. Но то, что я увидел, до глубины души потрясло и расстроило меня. Чья-то подлая рука сбила и уничтожила пчелиный домик вместе с частью его обитателей. Зачем? Ради каких-то несчастных граммов меда?

Игорь Варганов

Назовись своим прежним именем,
В жизнь уставшую погрузись,
Стань мне сном, стань осенним инеем,
И внезапной удачей явись.
Я к тебе обращаюсь, о светлое,
Непонятное чувство любви.
И у нищих есть в сердце заветное,
И у смертных есть вечность в крови.
В ожидании звезды истаяли
Горечь мрака добавив к беде.
И тоска постоянством измаяла,
И устал я стремиться к тебе.

Принес я сегодня в ладонях
Осколочек неба печальный,
Но только я двери захлопнул,
Растаял небесный огонь.
И вновь я в долину спустился,
И, небо с водой родниковой
В ладони, взяв, молча явился,
Обратно, в домашний уют.
Но только вошел я в пустынный,
Заполненный книгами сумрак,
Как снова кусочек зеркальный
Утратил свою синеву.

О, как мне поймать то мгновенье,
Когда луч немеркнувший солнца,
Утратив свое отраженье,
Ушел из ладоней моих?
Быть может его отвратило
Молчание книг запыленных,
Иль может мою печалью,
Как люди испуган он был?

Весенний тревожный вечер
Мне вдруг послышалось рядом,
что кто-то сказал – ты не был.
А звезды сияли в небе,
Как бисер после дождя.
Кто мог мне сказать такое?
В тот миг я лишился покоя,
вокруг никого не найдя.
Я мир весь окинул взглядом:
листвой шелестел лишь ветер.
Я – не был? Ну что ж, может, правда,
ведь жил я не так, как другие.
Вокруг бесновался ветер,
и медленно гаснул вечер.
На город пролились луною
бледные капли света.
Шумело веселье где-то,
а я перестал быть собою,
а если все мысли чужие,
то где же тогда есть правда?

Андрей Козловский

Когда я по жизни
блуждал как в пустыне,
И жажда сжигала до тла,
Моя дорогая,
послушай, не ты ли
Последнею каплей была?
Вот так и кочую
вдоль века без связи –
Присохшая к телу душа.
И все однозначно:
мираж ли, оазис,
И всякая тень хороша.
Но море вдали.
Словно ленточку грудью,
Рву память,
следы волоча...
Волной набежавшая
пена остудит
Кипящее тело, прощай!
Прощай.
Вот уж кровь загустела,
как камень.
И я, холода, пойму.
Что там, где до дна
не достанешь руками,
Последний глоток
ни к чему.

Сентябрь.

И дождь в окно глядит не уходя.
Вот и еще одно меня покинет лето.
Я рамы отворю, а поперек дождя
Неведомо о чем чуть слышно плачет флейта.
И мой котенок спит на клеточке ковра,
Колючих рыб и робких птиц воображая.
Ему бы молока на блюдечке с утра,
А остального нет – удача ли, душа ли...
А ты играй, флейтист, не время уставать
Не время узнавать и думать, отвечая.
Есть только жизнь и смерть – вот главные слова,
А между ними ветер маятник качает.
Ах, мне б оставить дом и в доме суetu,
Чтоб у окна не ждать куда подует ветер.
Расправить два крыла и вот уж на лету
Не слушать, а играть, Да-да. Играть на флейте!

Виктор Косарев

ВЕСНА

В полночный час мечтам моим раздолье,
опять весна стучится за окном
и манит в даль знакомое приволье,
где ждут друзья, где мой таежный дом.

Там ждет меня весеннее разводье,
слепит озер и рек голубизна.
Черты берез, шагнувших в половодье,
картин знакомых – взору новизна.

Люблю я слушать птиц пролетных пенье,
смотреть часами птиц на глади вод.
«Весенний гимн» – дает мне вдохновенье.,
где гладь воды скрывает небосвод.

Люблю стоять у озера я ночью,
с луной беседовать в предутренней тиши.
Плынут, как призраки, тумана клочья,
и слышно шепчутся о чем-то камыши.

Таежный край моей душе дороже,
курортов и кварталов городских.
Душа и тело отдыхают тоже,
спокойней сердцу от сует мирских.

Люблю леса, луга, озера, реки!
Люблю Россию – Родину мою!
Я край суровый полюбил навеки.
Людей хороших – сердцем узнаю.

ЗИМНИЙ ЭТЮД

Грустна погода в ноябре,
И ветер засвистел уныло,
И речка в чистом серебре,
И хвойник в серебристой пыли.
Повисли хмуро облака,
Касаясь крон высоких елей.
И слышен уж издалека
Минор простуженных метелей.
И слышно в сумраке ночном:
Мороз раскалывает ловко
Дрова незримым колуном
Для холодильной установки.

Заголубела неба высь.
Весенным светом обогреты,
Леса стоят еще раздеты,
Но реки буйно разлились.
Слепят небесные лучи,
как всполохи электросварки.
И режут бурные ручьи
Стальную наледь автопарка.
Река сверкающей фольгой
Шумит на ярких перекатах.
И не смолкает на закатах
Весны ликующей прибой.

МОЙ КРАЙ

Весенний край, люблю тебя,
За небо сине-голубое.
Горжусь нескованно тобою,
Тебе обязан многим я.
Люблю весеннее цветенье,
Разливы пойменных лугов
И свежесть утренних лесов,
И птиц взволнованное пенье.
Люблю тебя, мой край родной,
Как небо звонкий жаворонок.
Влюблен в тебя еще с пеленок.
Люблю сильнее с сединой.



Цонева Любовь Николаевна родилась на Украине
Киевской области деревне Ивки. В Советском живет и
работает 12 лет.

Маэта. Но огарок свечи
 Мне напомнит о том, что не сбудется.
 Пустота. Хоть кричи – не кричи,
 В бесконечности голос заблудится.
 Чистота. Может, этих снегов,
 Что в бурлящий поток превращаются?
 Может, сердца, в котором любовь,
 Непременно в свой срок зарождается.
 Простота. Сколько в ласках вранья?
 Как во льдах разноцветьем сверкающих.
 Суэта. И моя и твоя
 Соткан мир из мгновений решающих.
 Не сбылось. Но уже никогда
 То, несбывшееся, не забудется.
 Миражом из руин города
 Встанут – внукам когда-то причудится.
 Ну, а я? При огарке свечи
 Допишу свою оду печальную.
 Домовые пророки – сычи
 Перекликнутся песней прощальнойю.

Качалась лодочка. Плыла.
 И небо звездное качалось.
 Тела. Не души, а тела
 В безумной похоти встречались.
 Метнулась бледная звезда
 И рядом с лодочкой упала.
 Зачем мы плыли и куда?

Ни ты, ни я о том не знала.
Шушукался камыш густой
О том, что разум нас покинул,
Среди кувшинок водяной,
Над нами похихиков, сгинул.
Девичья грудь. Твоя рука.
Мне стало холодно. Знобило.
Качало лодочку слегка.
Ты не любил. Я не любила.

Туман, платаючи, завяз
И спать улегся в верболазы.
Костыль примерил дядька Влас
И оселком монтачит косу.
Покорно травушка легла:
«Эх! Ох! Нога другая кабы!»
Как пышно липа расцвела.
Стон по селу – рожает баба.
Рогами месяц молодой
С копною первою бодался.
Петух бесхвостый, чуть живой,
Баском фальшивым надрывался.
Кровавый цвет заря лила
На бусы вишенного сада.
Когда я в этот мир вошла
Под грохот дальней канонады.

Решено. Тебя забуду.
Фотографию порву.
Ждешь меня ты у запруды.
Я к аллее поверну.
И назло одену платье
С бледно-розовой каймой.
Решено. Пойду гулять я.
Нет, мой милый, не с тобой.
Решено. Сожгу скамейку,
Где сидели я и ты.
Заплету в плетне лазейку.
И терновые кусты
Посажу вокруг забора.
Буду часто поливать.
Никакого разговора
Забывать, так забывать.

Все посуда, да посуда,
Щи, котлеты и супы.
Только это помнить буду
Под конец своей судьбы?
Сколько мыто – перемыто
Стенок, окон и полов?
Сколько шито – перешито
Юбок, платьев и штанов?
Я в лугах косой горбатой
Спешно резала траву.
Меж рассветом и закатом
В шумных хлопотах живу.

В ЛЕСНОМ ПОСЕЛКЕ

В лесном поселке песни не смолкают,
Сосне кудрявой шепчут ветерки:
Как хорошо свой праздник отмечают
Твои друзья, умельцы-лесники.
Ведет рассказ здесь каждый, кто что знает
Про быль и небыль здесь, в лесном краю,
Как гордый лось рога свои роняет
На алую красавицу зарю.
Как лучше провести посев – посадку,
С любовью слушать птичьи голоса,
Как уберечь от бед природу – матку,
Чтоб не скудели русские леса.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В Новый год, моя любимая,
Не могу забыться долгим сном.
Вновь меня зовет дорога длинная
С остановкой под твоим окном.
Простою всю ночь у стен завьюженных,
Все скажу, что раньше не сказал.
Чтобы ветер чувств моих разбуженных
В темноту со снегом не угнал.
Раскатились звездочки-горошины,
Взять бы их в ладони я не прочь,
Отогреть, потом, моя хорошая,
Подарить тебе их в эту ночь.

ГАРМОНЬ, ПОДРУГА БОЕВАЯ

Возьми-ка друг, свою гармонь – подругу,
И пусть споют родные голоса,
Как пели нам под огненную вышугу,
Про голубые верные глаза.
Тогда нам было только по семнадцать,
Мы не успели даже полюбить.
Но это мы дорогою солдатской
Прошли полмира, чтобы победить.
Споем о тех, кто шел и не сгибался,
Героем пал на трудном том пути.
Кто Дня Победы ждал и не дождался,
Чье сердце вновь не застучит в груди.
За тихой речкой стелются туманы,
Горит костер, колышется огонь...
Там вспоминают битвы ветераны:
Им подпевает русская гармонь.

КИТЕЛЬ

Поношенный китель военный
С времен фронтовых я сберег –
Он словно мой друг незабвенный
И спутник нелегких дорог.
С горячей тоскою сыновьей
Сквозь пепел пожарищ и дым
От снежных равнин Подмосковья
Дошел до Победы я с ним.
Он дорог мне, дорог, не скрою.
Свидетель суровой поры:
Мы вместе изведали с болью
Тяжелую участь войны.
Пропитан он потом и кровью,

Украшен рядами наград.
Гляжу на него я с любовью
Как русский бывалый солдат.
Но если пройдет передышка,
Огнями земля загорит
Мой китель наденет сынишка –
Дорогу отца повторит.

Валерий Юхневич

Лицо, меня зовущее, ясней мне,
Как проходящих суток новизна.
Катись все к черту – истины, сомненья...
Уйти в тебя и ничего не знать.
Душе тепло, ни желчи и ни горечи.
Как на маяк, на твой в окошке свет
Иду. И пусть мне перемоют косточки
Соседей пересуды, взгляды вслед.
Мой шаг поймешь, счастливая затворница,
Хоть половичный скрип стоит, как свист.
Твою каморку назову я горницеей,
Моею Василисой назовись.
Сквозь стену проникающие гомоны.
В налившейся нетрезвости бодрей.
Мою уже немолодую голову
Прикосновеньем пальцев обогрей.
Покажется, обиды все заглажены,
Прозрачна жизнь, как в самых лучших снах.
И музыка великого согласья
И пониманья
Возникает в нас.
В печи поют последние поленья,
В окно вечерний голосит апрель.
А наше слитное сердцебиение
Поможет миру делаться добрей.

О, как спешат сменить друг друга дни!
 Ракета ошарашенного солнца
 Своим движеньем разрывает небо,
 и возникают в нарастанье ночи
 Микроскопические взрывы звезд...
 Я не могу тобою надышаться,
 Пожаром щек и дрожью плеч твоих.
 И никого вокруг. Лишь мы с тобой.
 Как будто на Земле с нас
 жизнь должна начаться.
 ...Я падаю в подушку,
 Просыпаюсь.
 Лицо под кран.
 Потом мне на работу.
 И никакой усталости в помине.
 Но как спешат сменить друг друга дни!

МЕДВЕДЬ

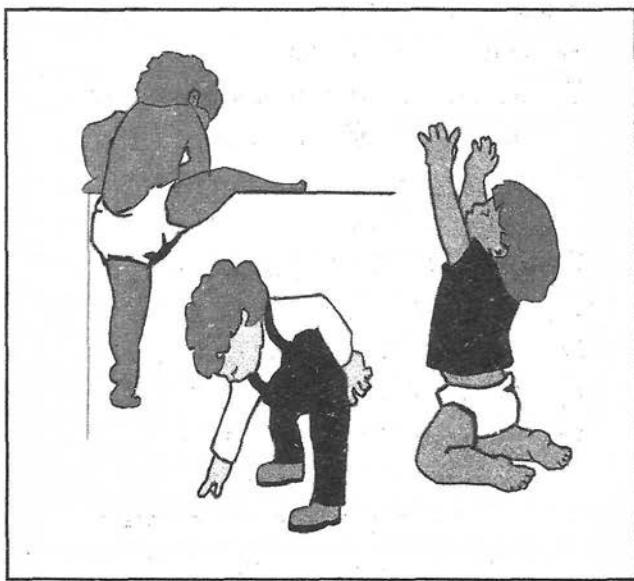
Он над травою трясясь ржавой шерстью,
 Обкатанный тяжелый полушар.
 С недавних пор малейший слабый шелест
 Его предубежденно поражал.
 Добро б охотники здесь прошагали,
 Где только он один ходить желал.
 Но обонянье остро обжигали
 Устойчивые запахи жилья.
 Там язвы ртов и сосны все в затесах...

От взрывов столбенел, ни мертв, ни жив.
По коридорам протяженных просек
Бензина дух, натужный звук машин.
Лес молча ждал, когда же зверь остынет.
И птичий шум в густой листве редел,
Пока он яростно терзал осинник
И шрамы оставлял на бересте.
И люди леденели в удивлены –
Задерживали их его следы:
Корнями кверху вывихи деревьев,
Как ульи разоренные кусты.
Не знал медведь, что здесь не очень смели
В тайге блуждать, с тайгою на один
Все чаще он, надменный к переменам
В берлогу глухомани уходил.

НОЧЛЕГ

Здесь вечер вновь не медленен, не скор.
Две уложки... Сквозным – сквозно пусты.
По их краям под тяжестью снегов
Присевшие усталые кусты.
Глухой кордон, мое микросело,
Ночлег в командировочном пути.
Беззвездно над промерзшую землей.
Здесь каждый дом приниженно притих.
И здесь вдали от мощи киловатт
Свеча с мизинец мне, как божий дар.
Парят не тени – зримые слова,
Которые душою ожидал.

Ущерблен листик пламени свечи.
Огарочек, ты отголосок дня.
Смертельно прозябанье в ночи –
Ничто я здесь без света и огня.
Ложусь во тьму оглохшим и слепым.
Бунтует мозг и кажется, что зря.
А мысли и бессвязны и слабы,
Как первое письмо у дикаря.



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Антон Павловский
г. Советский

Смотрю я на лес сквозь двойное стекло
И вижу березы и ели.
В этом лесу я не был давно
И помню его еле-еле.
Войду я в него и пройдусь по нему,
Как в старое доброе время.
Наверное, я никогда не пойму
Людей, не влюбленных в деревья.
Они тракторами корежат его,
Строя дороги и дачи,
И не щадят никого, ничего.
Нет ведь такой передачи,
Где им открыто скажут о том,
Что они делают с лесом.
Что же с ним будет позже, потом?
Его ведь раздавит тем прессом,
Прессом, который создал человек,
Даже не вспомнив о нас.
Больше же мы не увидим вовек
Этот прекрасный пейзаж.
Вдумайтесь, люди, прошу вас о том,
Что мы оставим потомкам!
Этот малюсенький, жалкий лесок,
Где сосны подобны обломкам?!
Деревья мы на корню продаем,
Думая лишь о деньгах.
Подумайте, люди, прошу вас о том.
Лес еще в наших руках!

Светлана Новоселова

n. Пионерский

РОДИНА

Вот знакомая калитка,
Вот береза, вот рябинка,
Вот мой старый дом под крышей,
Обветшалой и поникшей.
Вон мой пруд с жемчужным блеском,
Вон река за перелеском,
Лес стоит над нею гордо.
Он-то знает, как мне горько.

Алена Анкушева

n. Пионерский

Как мало мне для счастья надо:
Увидеть в небе журавля,
Знать, что не будет снегопада,
Что нагревается земля.
Узнать мелодию капели,
Что слух ласкает нам весной,
А ветер ласковый в апреле
Нежнейшей веет теплотой.
Глаза от солнышка прищурить
И улыбнуться как во сне.
Мечтать и думать о лазури,
И о любви, и о весне,
О раскрывающихся почках,
Разноголосье певчих птиц,
О пестрых будущих цветочках
И об улыбках добрых лиц.

Екатерина Смирнова

n. Пионерский

Любовь – прекраснейшее чувство,
Судьбы спасительная нить.
И это целое искусство –
По-настоящему любить.
Когда любовь приходит в сердце
И тайно мучит по ночам,
Она приоткрывает дверцу
В тот край, где места нет слезам.
Любите, люди! Будьте рады!
Жить, не любя, нельзя никак.
И счастье будет вам наградой,
А горе будет вам пустяк.

Наташа Зеленова

n. Агирии

РАЗМЫШЛЕНИЯ

И зачем только я здесь стою? Как хочется освободиться!
Есть, наверное, такие места, где можно отдохнуть
порядочной урне, отслужившей свой век. Сколько уже
работаю? Вот вчера, например, три разбитых бутылки,
шесть банок из-под сока, тринадцать пробок, окурки,
жвачка, коробки, фантики! И так каждый день! Неужели я
не заслужила отдыха? Каждый день до трех килограммов
мусора держу! А еще радоваться должна, природе, мол,
помогаю! Да зачем мне это нужно! Все! Наработалась, ухожу
на пенсию!

Урна упала на бок и покатилась...

Павел Черкес

г. Советский

ОСЕНЬ

Я утром с постели встал,
Подошел к окну
И там увидал
Опавшую листву.
Это осень одела свой яркий наряд,
Совершая свой ежегодный обряд.
Ветры бегут, как собаки за ней,
Держит в руке она тучу дождей.

Аня Хохрина

г. Советский

ПРО КОСТЮ

Костя был большой спортсмен,
Он без дела не сидел.
Каждый день скакал, плясал,
Прыгал, бегал, танцевал.
Но однажды обленился
И в неряху превратился.
Тренировки позабыл,
Все лежал да пил, да ел,
На разминку не ходил,
На пробежку не ходил,
Словом, сразу потолстел.

Светлана Артемова

n. Агириши

МЕТЕЛЬ

Кружит снежная метель,
Звонко пляшет выюга.
И такая канитель –
Не видать друг друга.
Вся белехонька земля,
Лес в ином наряде
И метелица – змея
Вьется чуть горбато.
Черный лес – мужик немой,
То мычит, то воет.
Желтый месяц над трубой
Лайку беспокоит.
Воет ветер над избой
И метель смеется,
А морозко озорной
Смотрит из колодца.

Анастасия Родыгина

n. Малиновский

УЧЕБА

Я не знаю что мне делать с математикой,
Математика ведь в жизни так важна.
Не могу сдружиться в школе с информатикой
И по русскому в тетрадке чехарда.

Я с учителем по алгебре наспорился,
Уверял его, что дважды два один.
Получил я двойку по истории –
Ну, не я взял этот самый Измаил!

Кирилл Кордик

п. Коммунистический

ПУШКИН

Поэт мне видится повсюду –
Меня пленил своим умом.
И никогда я не забуду
Труды его, что под пером
Рождались и сложились в книги,
Чтоб мы читали их потом.

Антон Сенников

п. Коммунистический

СЕВЕР

Снега на севере, мороз –
Суровая природа.
На небе хороводы звезд,
А солнца нет полгода.
Вдоль берега медведь идет
Дорогой ледяною,
На море белом синий лед
Сверкает под луною.

Песцов, тюленей и моржей
На севере немало
И птиц – бессменных сторожей
На побережьях скалах.



Леонид Сташкевич был первым директором заповедника «Малая Сосьва», вновь созданного в 1976 году. Занимался организационной, хозяйственной деятельностью, совмещая ее с научной и творческой. Шесть лет возглавлял заповедник на о. Врангеля, а затем работал на Курилах. В настоящее время – директор природного парка «Кондинские озера». Леонид – автор книги «Арктическая заповедь», а также фотоальбома о нашем районе, издающимся в Финляндии. Давняя дружба связывает его с семьей Кирилла Андреевича Дунаева, который оказал на автора большое влияние.

В альманахе использованы фотопейзажи Леонида Сташкевича.

ЗАПОВЕДНЫЕ ТРОПЫ

Не поторапливая судьбу, я жил в краю Сосьвинского Приобья – одном из самых глухих районов девственной тайги Северного Зауралья. Железнодорожная магистраль Ивдель – Обь прошла через топкие болота, крепи, желтые пески с борами – беломошниками и открыла доступ к богатым кладовым, накопленным экономной природой за столетия. Недавно созданный административный район Советский быстро превращался в современный центр лесной промышленности. До пяти миллионов кубометров высокосортной древесины ежегодно доставлялось с лесосек на разделку, распиловку, и все, что не уходило в отходы, не сжигалось, не сгнивало, – укладывалось на плечи железнодорожных составов и отправлялось на Большую землю.

Падала кондовая сосна в чистых борах, по крутым берегам затуманной реки Конды, по Нюриху, Еитье, Олтуму и святой реке Ух. Высокие темпы освоения тайги впечатляли, а богатства ее были неисчерпаемыми.

Со временем мое отношение к происходящему изменилось. Как и многие таежные жители, я понял, что кроется за такой мягкой фразой: освоение тайги. Как только сложнейший саморегулируемый природный комплекс начинают именовать лесосырьевой базой, это означает близкую гибель больших массивов леса с населяющими их травами, зверями и птицами, обмеление окрест рек и ручьев. Так человек поступал и поступает повсеместно на территориях, занятых лесами, – в Южной Америке и Европе, в Канаде и Северной Азии.

Промышляя охотой, я время от времени встречался в

тайге с коренными жителями этих мест – ханты и манси, – теми, кто не спешил перебираться с паулей и юрт – одинокий поселений по берегам Тапсая, Малой Сосьвы и Конды – в благоустроенные рабочие поселки, вырастающие вдоль железной дороги. Они хранили древнюю – и недавнюю – историю своего края, без знания которой пришлый человек навсегда останется глух и слеп к новой земле.

И поныне по реке Малая Сосьва у юрт Хангокуртских на кордоне, носящем то же название, живет манси Кирилл Андреевич Дунаев. Мы познакомились с ним в тот год, когда я белковал с собаками близ Худюмских болот. Места глухие и малознакомые, расположение ближайших избушек – зимовий неизвестно. Каждую ночь приходилось подыскивать прямо в лесу удобное место для ночлега. В верховьях реки Як-Еган я устроил небольшой настил из жердей и лапника на самом краю старого горельника, запасся дровами и решил хотя бы несколько дней не удаляться далеко от своей базы.

Кедрачи вдоль берегов таежной речки приглянулись мне настолько, что я начал подумывать о строительстве охотничьей избушки – благо, сухой лес на горельнике был под рукой. Как-то раз, когда в ожидании вечернего чая я размышлял об этом, собаки глухим осторожным рычанием дали понять, что кто-то приближается к стоянке от противоположного берега.

Бурый медведь в позднюю осеннюю пору сыт и спокоен. Если натолкнется на охотника случаем, поторопится уйти в сторону. Собаки продолжали тихонько урчать, я отошел от костра в темноту и увидел человека, идущего семенящей походкой прямо на свет. Собаки бросились к нему и, позевывая и виляя хвостами, возвратились к стоянке.

Ночной гость, кажется, нисколько не опасался недружелюбного приема и вышел прямо на меня.

— Вуся, вуся! — поздоровался он по-хантыйски. — Я Кирилл Дунаев. — Низкорослый мужичок в нелепой кацавейке подал мне, здороваясь мимоходом, узкую ладонь, быстро уселся на валежину у костра и уставился колючим взглядом на котелок с закипевшей водой.

Что-то я слышал о Дунаеве-охотнике. Он отказался от переселения из Хангокурта, хотя ему предлагали работу и квартиру в поселках Пантынг и Самза. О нем говорили разное: некоторые считали его браконьером, обставившим темный промысел так, что к нему за пушниной, камусом, мясом залетали вертолеты; другие уверяли, будто Кирилл Дунаев, напротив, охраняет от чужого глаза в глухой тайге святые лабазы, и не будет прощения тому, кто прикоснется к ним.

У таежного костра мы о многом успели переговорить. Дунаев оказался интересным собеседником, а я все больше слушал, задавал вопросы да подливал в кружки чай, настоящий на брусничном листе. В ту ночь от Кирилла Андреевича я узнал о трагической судьбе азиатского речного бобра-инквоя.

...Когда-то сибирский бобр-абориген обитал в ручьях и реках, стекающих к Иртышу, Оби, Енисею. Речной народец жил, никому не мешая, прилежно трудился над строительством крепких плотин, избушек-хаток по-над крутыми берегами. Он с большим доверием относился к людям, а люди с интересом наблюдали за его жизнью, оберегали от дикого зверя и считали бобров своими дальними предками. Старики учили внуков: если охотник убьет бобра-инквоя, в его юрте умрет ребенок. Каждое

поколение молодых охотников помнило предостережение стариков, а состарившись, передавало его внукам и правнукам...

Но появились в тайге пришлые люди, стали предлагать жителям хорошие товары – ружья, порох, красный шелк и спирт – за бобровые шкурки, и многие остыки и вогулы перестали бояться запрета. Бобр быстро начал исчезать из водоемов.

Будто сговорившись, из тайги уходил зверь, улетала птица, в реках пропадала рыба. Тайга стала скудной, люди страдали от голода. Рядом с юртами и паулями на ветвях деревьев появлялись все новые лоскутки красной материи – знак того, что в этих семьях умирали дети.

Только в верховьях рек Малой Сосьвы и Конды за непроходимыми топкими болотами, вековыми речными перекатами коренные жители еще держали в строгой тайне места обитания священного зверя, передавая из поколения в поколение заповедь отцов: когда исчезнет из этих мест бобр-инквой – тайга оскудеет, обмелают реки и степные ветры разрушат человеческое жилье...

Дунаев рассказал все это так, будто вспоминал полуза забытую сказку из своего детства. Тем неожиданнее был его ответ на вопрос о причине нежелания переселиться поближе к железной дороге. Он ответил:

– Я охраняю бобра. Его осталось совсем мало, быть может, скоро совсем исчезнет.

«Неужели этот манси до сих пор верит в страшное предсказание предков и решил посвятить жизнь сохранению нескольких семей бобра –aborигена?» – подумал я, но вопрос задал иначе.

– Кто же тебе поручил в одиночку заниматься таким

делом?

— Большой начальник из Москвы просил меня об этом, — ответил Кирилл Андреевич. — Каждую осень я сообщаю ему письмом, где еще живут по нашим речкам бобры.

— Но чтобы охранять бобра, если он еще остался где-нибудь в глухих местах, нужны определенные полномочия, — настаивал я, — тебя приняли бы на должность. Ты же, как известно всем, живешь только промыслом.

— Скоро меня назначат егерем, — с большим простодушием серьезно сказал охотник, — а пока, видишь: ты появился на Як-Егане, и манси — тут как тут!

Он хитро, но по-доброму взглянул на меня. От отца манси Дунаев унаследовал живой и выразительный взгляд карих глаз, от матери хантэйки досталась ему мягкая и добрая улыбка.

С рассветом мы расстались с Кириллом Андреевичем Дунаевым. Я обещал не заходить больше в его владения, хотя он и не просил об этом.

Ночной рассказ охотника-манси не выходил у меня из головы, и по возвращении из тайги я принялся искать литературу по истории края, записывать рассказы старожилов. Тайга Сосьвинского Приобья давно уже не казалась мне слепой и дикой силой, враждебной человеку, пытающемуся якобы на законных правах изъять лес из ее кладовых. Она все больше теперь вызывала чувство жалости, которое можно испытывать к живому обнаженному существу...

Через год более двухсот сорока тысяч гектаров северной тайги от истоков Конды до озера Турсунский Туман были объявлены республиканским заказником. И хотя по-прежнему рубили лес по берегам притоков Конды - Олтуму,

Ейте, Эсс и Святому Уху, охотничий промысел попал под запрет. Я рад был узнать, что Дунаев стал егерем заказника. Более того, его участок специальным распоряжением Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР определили по реке Малой Сосьве, формально не «заказанной», и теперь егерь Кирилл Андреевич Дунаев имел все права, встретив на Як-Егане случайного человека с ружьем, потребовать от него оставить тихую речку с бобрами в покое. До организации государственного заповедника «Малая Сосьва» оставалось еще пять лет...

Сосьвинское Приобье – древняя страна vogulov. Русский летописец поведал, как в зиму 1364-65 года «с Югры Новгородци приидоша дети боярскии и молодые люди...» Но и это не самое первое слово об открытии русскими ходоками диких племен, населяющих Зауралье. Ипатьевская летопись донесла до нашего времени рассказ посадника Павла, датированный одиннадцатым веком, о посланце из Новгорода в страну Югру, у которой «язык нем». Он искал путь в Китай и Индию, который, по слухам, был уже кем-то в прежние времена пройден...

Тот, кто в стародавние времена переваливал через темный Урал в поисках новых земель у таинственного Лукоморья, поражался суровости и богатству азиатской земли, простодушию населявших ее народов. Рассказы о безбрежной таежной стране будоражили сознание людей, скорых на ногу и алчных до наживы.

Каждый век отправлял в дальний путь своих первопроходцев. Шли они в одиночку и тайком или большим отрядом Семена Курбского – кто с мечом, а кто и

со святым крестом – но с одним желанием: прикоснуться к золотой пушнине таежных кладовых. Мало добра приносили пришлые люди на эту землю.

Нынешнему веку досталась беспросветная нищета народностей Севера. Вымирали от голода и болезней целые племена. Тайга оскудела, запасы дичи и пушного зверя, чем славилась Россия еще несколько веков назад, оказались подорванными настолько, что некоторым видам животных угрожало полное исчезновение.

Новые принципы освоения Севера принесла советская власть. Их проводником в Сосьвинском Приобье стал Кондо-Сосьвинский заповедник. На протяжении четверти века здесь развивались научные традиции охраны природы, внимательно изучалась жизнь таежных обитателей, охранялись леса и травы, птицы и звери. Коллективу заповедника удалось привлечь к этой работе коренное население.

С большим тактом в заповедном краю относились к истории маленького народа, к его обычаям, своеобразной культуре. Ни у кого не возникало желания переделать на свой лад названия рек, озер, урочищ, даже если они были труднопроизносимыми или малопонятными.

Ханты и манси вспомнили заповедь своих отцов и оберегали теперь бобра-инквоя, редки поселения которого можно было еще встретить по глухим притокам таежных рек. И удавалось людям видеть в весенней синеве северного неба силуэт редкой птицы – белого журавля-стерха на пролете к ближнему урочищу. Тайга Сосьвинского Приобья вновь стала богатой и щедрой. И за пределами заповедной территории человек брал от нее только то, что нужно было для жизни. Человек и Дикая Природа вместе трудились над

своим будущим...

В 1951 году Кондо-Сосьвинский заповедник был ликвидирован.

За сорок лет до начала развития лесной промышленности – в 1927 году – организатор и первый директор Кондо-Сосьвинского заповедника В.В.Васильев писал: «Эксплуатация лесов в данном районе возможна – но в сторону Урала при проведении железной дороги от Никито – Ивделя, до которого от юрт Тимофеевых считается двести пятьдесят верст...»

Массивы спелых лесов привлекали теперь людей гораздо больше, чем в давние времена населявшие северную тайгу соболь и бобр.

Первопроходцы моего поколения пришли через десять лет на бывшую заповедную землю не для того, чтобы взять лес только « в сторону Урала». Железнодорожная магистраль протянется от Урала до Оби, сделав глухой таежный край доступным для интенсивной эксплуатации.

Основной задачей того времени считалось освоение современными индустриальными методами лесных запасов, в скором будущем предвиделись разработки земных недр – нефть и газ. Герб молодого Советского района украсили нефтяная вышка, кирпичная стена строящегося здания, тени деревьев, олицетворяющие богатство лесосырьевой базы. И не нашлось на нем места для голубого неба и белой птицы – стерха...

Поколение покорителей природы спешило заполнить новые страницы истории. Они действительно могут рассказать о героическом труде строителя, геолога, лесоруба, школьного учителя, лесника. Но кто расскажет о том, как был срублен самый старый кедр? Был он так велик,

что ни одна пилорама не смогла перепилить его на брус и доску. Он стал попёрек дороги человека – и остался лежать розовым комлем у своих корней – будто найдутся чьи-то силы поднять и оживить его снова!

Лес не берегли. Рубили широко – от плеча, полагаясь на хорошее лесовосстановление в будущем. Но кто скажет – что станет с нынешним подростком к концу двадцать первого века! Не повторяем ли мы судьбу европейских лесов прошлых столетий, открывая настежь двери тундрам с севера и степям с юга?

Вопрос нев в том: рубить или не рубить? – а как правильно и бережно использовать принадлежащие человеку по праву богатства Дикой Природы.

С годами лес отступал все дальше от рабочих поселков, зверь погибал от руки браконьера или перекочевывал в более глухие места. Теперь тайга не казалась безбрежной в пространстве и бездонной в своем богатстве.

И тогда человек вновь стал искать первопричину происходящего. Он принял восстановливать историю края, в который так решительно вступил на правах первопроходца и покорителя, поднял из недавнего прошлого память о Кондо-Сосьвинском заповеднике, прислушался к словам далеких предков, которые донес до них манси с реки Малая Сосьва Кирилл Андреевич Дунаев: ...тайга оскудеет, обмелают реки и степные ветры разрушат человеческое жилье...

Борьба за восстановление заповедника, хотя бы в трех реальных границах, где еще осталось что сохранять, затянулась на долгие годы. За спасение жемчужины Зауралья – реки Малая Сосьва выступили академики А.Б.Жуков, В.Б.Сочава, профессора В.Г.Гептнер, Г.А.Новиков,

А.Г.Воронов, А.Н.Формозов, в правительство республики обратились академик С.С.Шварц и бывший научный руководитель Кондо-Сосьвинского заповедника профессор В.Н.Скалон.

Время шло. Каждую осень реки покрывались льдом, тайга укутывалась в белоснежное покрывало – мир и покой обещала им суровая сибирская зима. Но к следующей весне, когда освобождались ото льда реки, им приходилось сбрасывать с себя временные деревянные мосты зимников – лесовозных дорог, хлысты брошенного по берегам леса. В верховьях Малой Сосьвы и на ее притоках лес превращался в древесину, из водоемов исчезали последние бобры-абorigены, о сохранении которых люди думали в течение последних ста лет.

В конце прошлого века зоолог И.С.Поляков направил из Березова на Малую Сосьву охотника – осяка, чтобы тот обследовал бассейны рек до Пелымса и вывез хоть один экземпляр азиатского бобра. Это удалось сделать только через восемь лет известному путешественнику и писателю К.Д.Носилову.

В 1924 году, когда стали распространяться слухи о том, что где-то в Кондо-Сосьвинском бассейне сохранился «речной человек», профессор Г.А.Кожевников писал: «Стыд и позор будет, если мы не убережем уральского бобра».

И вот в то время, когда многим ученым казалось, что уже поздно, река Малая Сосьва стала вновь заповедной рекой. В начале 1976 года в среднем ее течении на территории, занимающей около ста тысяч гектаров лесов и болот, был организован государственный заповедник «Малая Сосьва».

В должности директора я и принял тогда заповедник. Мне

очень нужно было оказаться полезным в этой тайге, и живущим в ожидании чего-то по берегам рек людям, и, конечно, бобру-инквою — я надеялся, что он еще хоронился на глухих притоках заповедной реки. Тогда я не задумывался о трудностях избранного пути: о разочарованиях, о дальних дорогах, о невосполнимых утратах, ждущих мою долю, и о том, что близость к Дикой Природе — это источник той силы, которая должна помочь выжить человеку в современном цивилизованном мире...

По первой летней погоде я вылетел в Хангокурт к Кириллу Андреевичу Дунаеву. Тетя Поля — его жена — встретила меня, по своему обычая, приветливо.

— Он на рыбалке, — сказала она, придерживая злых и почти отвыкших от запаха посторонних людей собак. На моих глазах она быстро обменяла мешок пушнины и камуса на муку и сахар, и, довольный сделкой, предприимчивый бортмеханик поволок «добычу» к машине. Вертолет улетел, над заброшенным поселком опустилась заповедная тишина. Собаки сразу успокоились, посчитав меня теперь за «своего».

Тетя Поля пристроила на место муку и сахар и повела меня на берег.

— Ждать хозяина придется долго, — сказала она, — бери лодку и поезжай до седьмого плеса.

Через час я вышел на глухую старицу и увидел Дунаева. На узкой долбленой лодке-калданке, мастерски изготовленной таежными жителями, он ставил сети. Мимо него с достоинством грациозно проплыvalа пара лебедей. Манси неторопливо закончил свое занятие и только потом направился ко мне.

Мы молча посидели у маленькой коптильни, устроенной здесь же на старице. Он по радио уже слышал об

организации заповедника и ни о чем не спрашивал меня. Разглядывал по-новому, догадываясь, что я получил какие-то полномочия и приехал к нему по делу.

— Надо работать на заповедник, — сказал я Кириллу Андреевичу.

Он еще помолчал и неуверенно ответил:

— Поздно, однако. Григорий Смолин в Тузингорте был в гостях недавно. Сильно смеялся. Пришел, говорит, всю реку до верховьев — нет бобра, а встретил бы, так забрал с собой на Обь, все равно ему здесь не прожить. Сильно шумят.

— Надо работать, — повторил я свои слова, и Кирилл Андреевич вдруг заторопился в Хангокурт.

Через несколько дней мы вышли на лодке через Ем-Еган к железной дороге. На весенней половодной реке у Конфетного переката на притопленном тальнике показал мне манси свежие погрызы бобра.

— Здесь была большая семья, — объяснил он. — Детей задавили собаки сборщика живицы, а жирную мать — бобриху человек поймал в капкан. Остался только бобр — отец, я его Бобылем называю. Теперь, может быть, новую семью найдет...

В эту поездку Дунаев забрал с собой всех своих охотничих собак. Он сам так решил. У железнодорожного полустанка мы расстались.

— Теперь мы на своем вертолете будем завозить продукты, — сказал Кирилл Андреевич. Простодушная улыбка засветилась на скуластом лице охотника — манси. Удерживая на привязи собак, он быстрым семенящим шагом направился в сторону ближайшего рабочего поселка.

Так вошли в мою жизнь заботы о заповедной земле.

Содержание

<i>К читателю</i>	3
<i>ПОШЛИ МНЕ СИГНАЛ НА СЕРДЕЧНОЙ ВОЛНЕ</i>	5
<i>Владимир Кочкаренко</i>	6
Апрель	9
Вы помните сладость	10
Песня на маленькой станции	13
Все с той же первобытной ленью	14
Вокруг меня	15
Там лесной поселок за горой	16
Коротки осенние дни	17
<i>Владимир Фомичев</i>	19
Спою о солнце	20
Нежностью наполнилась душа	21
Ранний час	21
<i>Евгений Вдовенко</i>	23
За Аленкой моей	24
Свиристели	26
Угра	27
<i>Александр Губанов</i>	29
Осень	30
Сяду в поезд	31
Шаман	32
Девочка, нелепый аистенок	34
Поле	35
Снова здесь я рассветы встречаю	36
<i>Мишка</i>	37
<i>Владимир Волковец</i>	45
Ремонтникам - романтикам	46
Весной на реке	49
На полустанке	49
Как примеришь по судьбе	50
Человек с чемоданом	50
У телевизора	51
Воробей	52
Сапоги	52
<i>Станислав Юрченко</i>	55
Причастие	56
Исповедь	58
Родословная	59

Над Обью чайки	64
Если мне этот мир вдруг придется покинуть до срока	64
Друзья уходят слишком рано	65
Мороз над Советским.	65
Татьяна Кондратьева	67
Здравствуй	68
Мы все когда-нибудь уйдем	68
Побежали с горки дни и годы	69
Тихо-тихо уплывает лето	70
А в лесу бушевала осень	70
Дождь на окнах оставил следы	71
Анатолий Казанцев	72
Азарт ловца да чистый лист тетради	73
Ветрами перемен в краю родном	73
До листочка выгорела осень	74
Нас приучают к мысли	74
Вся жизнь моя похожа на тельняшку	74
Когда в природе осень наступает	75
Надежда Лещева	76
Обнажились ветви белых ливней	77
Зрелость	77
Я надела ожерелье из прищепок	78
Я объявляю мораторий	78
Я стою на перроне	79
Александр Загоровский	80
Из апрельского цикла	81
Обо всем	82
Попутчик	82
Ассоциации без запятых	83
Наша встреча – мое озаренье.	84
Вариации на тему любви	85
Дед	86
Налоговый инспектор	86
Борис Зуйков	87
Глава из книги «Белогорье»	88
Татьяна Рыжикова	99
Одиночество	100
Проклятая, белая – белая ночь	100
Невыносимо, нет, невыносимо	101
Дождливую серость крыш припоротило снегом	101
Подруге	102
Горько – сладкий запах – рассвет голубой	102

Прохлада чистого дождя	103
Мой город	103
<i>Александр Игумнов</i>	105
Не оставлять в живых	106
СВЕТ, ИДУЩИЙ ИЗ ПАМЯТИ	119
<i>Борис Карташов</i>	120
Свадьба	121
Бабушка	122
Про коменданта	122
Допрос	123
«А ты Кирова убила»	123
Торжественное собрание	124
На вокзале	124
<i>Николай Бакалов</i>	127
Люблю таежную бескрайность	128
Последняя охота	129
Таежные зори	129
Молитва	131
<i>Борис Лысак</i>	133
Верхом на медведе	133
<i>Александр Смирнов</i>	137
Банька	138
По железной крыше нудный	140
<i>Олег Ермоляев</i>	141
Сон фронтовика	141
Гитара	141
Солдатская вдова	142
<i>Константин Мурзин</i>	143
Везение	143
Островок	143
Кораблики	144
<i>Анатолий Назаров</i>	146
Картины милых сердцу мест	146
Серый дождь вытягивает нити	146
Мои леса – зеленый бархат	147
Был март великим музыкантом	148
<i>Эдуард Баталин</i>	149
Поле	149
1948-й	149
Ценить умеем	150
Чтобы снега восторг и прощанье	150
Ну что ж	151

<i>Андрей Гаврилов (A. Раstryгин)</i>	152
Фронтовые пластинки	152
Вспомни обо мне	152
Прозрачный воздух	153
Моя Ока	153
Уже снега в краях суровых наших	154
<i>Михаил Навьюхов</i>	155
Нет, лучше Оби мне не надо	155
Нягань перекатом	155
Жизнь костром сгорает	156
В kraе сердцу близком	157
Вечер уж над сором	158
Сердцем принимая	158
Милая Россия	160
<i>Валентин Степанов</i>	161
Полипрагмазия	162
Фото - салон	164
Манекен	166
<i>Надежда Аллаева</i>	169
Утра светлая печаль	170
Не смею удержать тебя, любимый	170
Мне больше не о чем кричать	171
Все отступило на задний план	171
В парке осеннем	172
Белая гладь вместо синей воды	172
<i>Михаил Яковлев</i>	173
Петух – победитель	174
Журавлиха	175
Таинственный улей	178
<i>Игорь Варганов</i>	181
Назовись своим прежним именем	181
Принес я сегодня в ладонях	181
Весенний тревожный вечер	182
<i>Андрей Козловский</i>	183
Когда я по жизни	183
Сентябрь	184
<i>Виктор Косарев</i>	185
Весна	185
Зимний этюд	186
Мой край	187
<i>Любовь Цонева</i>	188
Маэста	189

Качалась лодочка	189
Туман, платаючи, завяз	190
Решено	191
Все посуда, да посуда	191
<i>Василий Куприн</i>	192
В лесном поселке	192
В новогоднюю ночь	192
Гармонь, подруга боевая	193
Китель	193
<i>Валерий Юхневич</i>	195
Лицо, меня зовущее, ясней мне	195
О, как спешат сменить друг друга дни!	196
Медведь	196
Ночлег	197
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	199
<i>Антон Павловский</i>	200
Смотрю я на лес сквозь двойное стекло	200
<i>Светлана Новоселова</i>	201
Родина	201
<i>Алена Анкушева</i>	201
Как мало мне для счастья надо	201
<i>Екатерина Смирнова</i>	202
Любовь – прекраснейшее чувство	202
<i>Наташа Зеленова</i>	202
Размышления	202
<i>Павел Черкес</i>	203
Осень	203
<i>Аня Хохрина</i>	203
Про Костю	203
<i>Светлана Артемова</i>	204
Метель	204
<i>Анастасия Родыгина</i>	204
Учеба	204
<i>Кирилл Кордик</i>	205
Пушкин	205
<i>Антон Сенников</i>	205
Север	205
<i>Леонид Сташкевич</i>	207
ЗАПОВЕДНЫЕ ТРОПЫ	208

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ «КЕДРА»

Альманах

1968 - 1998 гг.

Составитель А.И. Губанов

Редактор В.М. Волковец

Технический редактор В.Ю. Григорьев

Использованы фотографии из архива авторов.
На обложке фотографии А.М. Васина, Л.Ф. Сташкевича.

Сдано в набор 28.04.98. Подписано в печать 20.05.98.

Формат 60Х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Условных печатных листов 14.0. Тираж 1000 экз.

Лицензия ЛР № 070152

Заказ № 492

Издательство «РИО»

627740. г. Советский Ханты-Мансийского автономного округа,
ул. 50 лет Пионерии, 10.

Типография ОАО «Полиграфист»
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 20

36f

